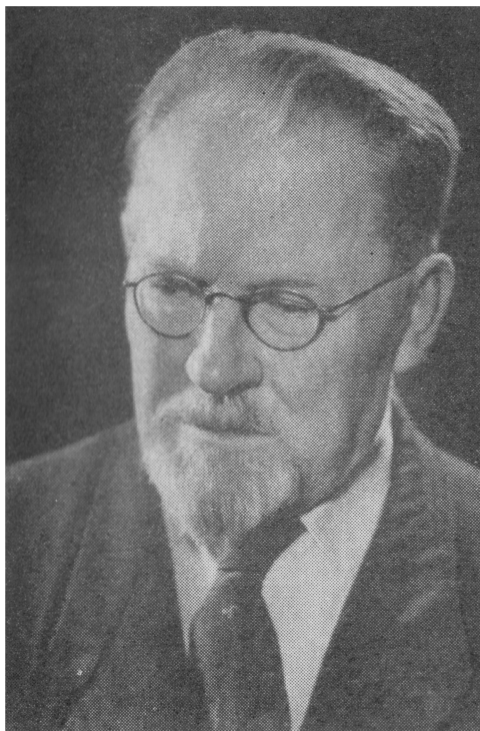


Б И Б Л И О Т Е К А

**ОГОНЁК**

№ 6

1971



*Федор МАЛОВ*

**ВИТЯЗЬ  
СОЛОВЬИНОГО СЛОВА**

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«П Р А В Д А»  
М О С К В А



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 6

Федор МАЛОВ

# ВИТЯЗЬ СОЛОВЬИНОГО СЛОВА

Издательство «ПРАВДА»

Москва. 1971

## Федор МАЛОВ

Федор Иванович Малов родился в 1902 году в лесной заводской деревне Горьковской области. Работал в кузнице, на лесосплаве и лесозаводе, в мастерской жестянщика. В 1921 году избирается председателем своего Лалакинского сельсовета. Учился в институте имени В. Я. Брюсова и Ленинградском университете, на кафедре известного писателя-этнографа В. Г. Тана-Богораза. Первые шаги на трудном пути писательском отмечены решающей поддержкой А. М. Горького, А. В. Луначарского, В. Я. Брюсова.

Печататься начал в 1925 году. Потом его рассказы и очерки публиковались в журналах «Красная новь», «Новый мир», «Октябрь», «Молодая гвардия», «Огонек», «Сибирские огни» и многих других. Одновременно Ф. И. Малов регулярно выступает в центральных и периферийных газетах, на радио. В содружестве с писателем В. Б. Шкловским написал сценарий для кинофильма «Сторона лесная».

В результате многочисленных поездок по стране выходят книги Ф. И. Малова: «Деревенское», «Преступление Афоньки», «Большое дело», «Поездка на Кантегир», «В краю Берендеевом», «На Прыкше» и ряд других. Некоторые книги писателя издавались в странах народной демократии.

---

## ВИТЯЗЬ СОЛОВЬИНОГО СЛОВА

*«Экая гайдучья трава!»*  
Всеволод ИВАНОВ

### 1

Восхищение словом — самый покоряющий и самый озаренный подвиг всей его писательской жизни. Неистовая пышность его неожиданных, неукротимых красок, их магический и воодушевляющий жар мне всегда напоминают ту всесильную и торжествующую молодость цветения, какая наступает в луговых просторах, на крутых припорах солнечных в самую цветоносную пору нашего среднерусского предлетья, уже до предельной густоты одевшегося в окрепший, полновесный лист. Просматривая мои записки о зарастающем пруднем озере Нёро, Всеволод Вячеславович с вдумчивостью требовательного исследователя говорил: нужно искать поющие слова, соловьиные слова. Самоцветные, как раскрывшееся перо жар-птицы. И такие, как он называл, пригожистые, неплененные слова, слова не пустоцвет, изобразительные, он и находил, и умножал, и ходил, животворил и пестовал всю жизнь.

Неувядающее узорьче слова открывало ему, скажем, и завораживающее очарование в лесочке за Пахрой, где мы бродили с ним по скатам еще не обсохшей юрской глины, напоминающей лоснящийся морковник. Не расставаясь с соловьиным словом, он любовался и прислушивался к зацветавшей и разгонистой долине с ее сверкающей и плодородной тишиной, с медленно перелетающими перед закатом птицами. И наши, вспоминаю, встречи и беседы стали чаще, длительнее только после одного затянувшегося разговора сначала о записанных рыбацких байках, трудовых погудках вокруг Неро, а потом и вообще о вечно обновляющемся русском диве: ловкой и находчивой, тароватой и густой народной речи.

Однажды я рассказывал на даче в Переделкине, как на редкость нелюдимый, мрачный наш лесной старик, Фотиевич, затянувший свару с сердобольной, неизбежно хнычущей Харла-

михой, пристукнул ложкой о за­ла­во­ш­ник и желчно скривил губы: «Суешься ты, щепеня мне разум, щепету­ха отпета­я!» И, завлеченный мужицким разгорячен­ным рече­ньем, Всеволод Вячеславович впопыхах обшаривал веранду, похлопывал по скатерти, по стульям, книгам, обескураженно отыскивал за­ка­тившийся куда-то карандаш. Хотелось под живую руку за­пи­сать и дедушкину «щепетуху» и «ущепеняемый» старухой ра­зум. Он ценил в таких присловьях их внезапную, как выстрел, ударную и сконцентрированную выразительность.

— Так дедко был и дровосек и пеньколом, молчун борода­тый? Разговаривал, ха-ха, не каждый день, по настроению? Есть-есть такие кряжеватые лесовики: мелкого словечка кле­щами не вытянешь! А уж скажут — заточенным топором отсе­кут! — И, скрупулезно, даже мелкие подробности записывая, долго еще тормошил меня взволнованный писатель, стараясь выведать неповторимые приметы старика Фотиевича.

Помню и другое. В причердачной комнатухе еженедельно­го журнала «Красная нива», с полукругом срезанного полом и немножко приоткрытого окна длится уж не первый час то сдержанный, будто пчелиный гул в работающем улье, а то как крик грачиный в роще, беспорядочный и почти на весь этаж шумливый разговор о московских литераторах, поэтах и об очень модных в те годы творческих платформах. У стола И. М. Касаткина, редактора журнала, в расколыхавшемся наку­ренном дыму сидят: С. Н. Сергеев-Ценский, В. М. Бахметьев, И. В. Евдокимов, А. С. Новиков-Прибой. И тут же скромнень­ко притулился в рабочей блузе старый правдист Л. Н. Зилов, автор любопытной книжечки «Лев Толстой и его посетители». Обтирая плечами стенку у окна и обдергивая воробьиный се­ренький костюмчик, суетится непоседливый П. В. Орешин. Он не постоит спокойно ни одной минуты и все время занимает своими разговорами о родной деревне крестьянских прозаиков В. Т. Юрезанского, В. Д. Ряховского, П. Ширяева.

Еженедельник помещался вместе с «Правдой». В распахну­тую дверь, дрожащую от близости работающей типографии и припертую легким гнутым стулом, несколько раз заглядывала мимоходом, как всегда, очень скромно одетая и очень тихая Мария Ильинична Ульянова. Ее небольшой рабочий кабинет на­ходился этажом ниже.

Кто-то из беседующих кладет на стол сибирскую газету с го­рячим и восторженным подвалом о творчестве писателя Всево­лода Иванова. С восхвалениями реалистической писательской поэтики, палитры, с разбором его буйной, в красках, звонкой силы. За давностью название газеты я теперь не помню. Но то была большая и серьезная по тем временам газета. Кажется,

с каким-то даже приложением воскресным. В ненавязчивых и на отличку дельных рассуждениях, между прочим, содержались и какие-то упреки, мелкие уколы.

— Обычный комариный зуд и зой! — нахмурился, еще раз заглянув в газетные колонки, Иван Васильевич Евдокимов. Будучи в ударе, он умел блеснуть словцом.

Мелкотравчатая и унылая щекотка, согласились все, щекотка с привкусом неуважительной и примитивной вкусовщины, неизбежной на тогдашней газетной полосе. Но речь не о том. Главное — в горячем и самостоятельном разборе, повторы. Серьезность и аргументированность многочисленных похвал в адрес даровитейшего, яркого художника-новатора, выдающегося зачинателя советской литературы. И что очень важно: насособицу взволнованный, добротный и как бы весь заплеснутый ликующим весенним светом общий тон статьи. Тон вразумительный и дружеский, без перекосов.

— Превосходная статья: отличная и искренняя! — пригладил мужественные густые брови Сергей Николаевич Ценский. — Приятно бы такое о нашем Всеволоде встретить и в центральной прессе. А то, выходит, матушка Сибирь, эдакая необъятная даль дальняя, замечательного мастера разглядела раньше нас. И пристальнее.

Где-то внизу послышался звонок. Редакционный день заканчивался. Стали расходиться — кто с кем. А разговор все продолжался, и пока спускались по широкой лестнице. Вспоминали вызвавшую страстные и многочисленные отзывы, яркую мхатовскую постановку «Бронепоезд 14-69». По-разному высказывались о сборнике рассказов «Тайное тайных», разноречиво принято центральной прессой. И даже на глухом редакционном двореке все еще переговаривались о большом писателе.

— Словояр!.. Неистовый словояр наш Всеволод!..

## 2

Ухабистый писательский путь — путь, полный непроторов, выбоин, каверзных колдобин, поворотов, неожиданностей. Путь, одолеваемый не только под валдайским колокольчиком или при уточненных графиках. Он, как известно, складывался у Всеволода Иванова с никогда не затихающими благородными исканиями, со смелым и нагруженным почином, муками да с не крикливой и в то же время на диво заполненной писательской страдой. Были взлеты, были, повторяю, поиски, тревожные в пути раздумья, остановки, пересмотры пройденного, копившие

его всегда неутомимую и всегда как бы размашисто и неотложно преодолевающую что-то, ищущую силу.

Так обихоженная в пору озимь держится, не раскущаясь и не прибавляя изумрудных переливов, не только в зримо коротящие дни умеренного на своем исходе бабьего лета, а и в продолжение всего предзимья. Но и после выдержанной в добрых сроках осенней передышки озимые зеленя уходят на всю зиму, уходят на покой, чтобы, набравшись под снегопокровом крепких сил подспудных, радостно и буйно загуститься с первыми весенними пригревами.

Однако и при всех ухабищах, путевых издержках, взлетах, при всех своих упорных новаторских исканиях, нередко завершавшихся открытием новых сокровищ, кладов, всю жизнь у Всеволода Иванова девизом несменяемым, девизом, хочется сказать, служебным была его высокая требовательность к слову, жаркая, ревнивая к нему любовь. Каждая строка его произведений напоминает по языковой оснастке только что отделанный ковер с ярким и причудливым орнаментом. И этому он оставался верен даже в небольших публицистических статьях, даже при сугубо деловых своих высказываниях об искусстве и литературе. Вопросы языка занимали Всеволода Вячеславовича всю жизнь.

Да будет в начале всего слово — как сказано еще давным-давно!

### 3

В этой связи вспоминается одна из встреч, относящаяся к последним годам жизни Всеволода Иванова.

...Только что закончилось совещание у К. А. Федина. Обсуждались обычные творческие вопросы. А по ходу разговора затрагивался отчасти и литературный язык. Всеволод Вячеславович позвал меня немного подышать в зеленом скверике. Весенней радостной метелью беловойной закурились и цветут недавно выбеленные понизу яблони вокруг тронно восседающего Льва Толстого. Кругом туманно-голубоватая вечерняя муть. Беседуем о том о сем, прихватывая и деревенскую лексику. Великие перемены, опричь всего, и на живом языке сказываются. Приехав недавно в деревню, я не нашел ни одного человека, который объяснил бы толком мне, как была устроена покойница соха-косуля.

— Не может быть! — воскликнул Всеволод Вячеславович.

Оказывается, в деревне о сохе совсем забыли. Разве только помнят о ней где-нибудь редкие старики. А ведь изобретение



матушки-косули мы относим к самой ранней поре своего славянского земледелия. Во всяком случае, неприхотливая труженница, деревянная соха еще при осаде киевской княгиней Ольгой Коростеня уже считалась твердой тягольной единицей, подлежащей обложению при сборах.

— Косуля? Кормившая страну веками? И забыта?! — удивился Всеволод Иванов. — А ведь это древнее орудие — разве не сама история нашего великого народа-земледельца!..

— И никто о ней не помнит, удивительно! А мне-то, как на грех, нужно было разобраться, что такое обжи, палица, грядиль, рассохи, тесаные очемёлки, перекрепы. А ведь были у косулюшки, кормившей безотказно, еще отвал, отрез, лемех, рогач, оглобли. У иного ж оратаяшка, допустим, сверх всего брусница в изголовье.

Я знал: язык — всегдашнее, брызжущее живой искрой кресало Всеволода Вячеславовича. И он после моей косули охотно разговорился. ...Встретил-де недавно одного почтенного собрата, на славу плодovitого прозаика. И творчество его по всем статьям — будто эдакая ткань тугая, плотная. А неимоверно скуден в слове... мумия! Так вот, в повести, напористой и жаркой, боевой, его героюшко посиживает, читаю, на какой-то доске поперечной. А едет, смотрю, бравый герой в санях. «Что же, спрашиваю, за доска? Терминологически?» А почтенный мой собрат даже ни гу-гу в ответ. За трубку взялся. «Спасибо-де, хоть сани от телеги отличаю!» Я-ста и тому радешенек. Исконный горожанин, кадровый. Подлиповцев и серенькую деревню по Решетникову, сказать честно, даже за литературу не считаю. Не взыщите.

— Речь о слове — речь о народе, Родине, — говорил Всеволод Иванов. — Все эти обжи и грядилья, подризи, нацепы разные — материальное содержание трудовой крестьянской жизни. Русская находчивость, практичность и мастеровитость. И всякие языковые ограничения в литературе — скверность, надо сказать, изрядная! Вроде усушки, утечки, разного там недолива и дрянненькой пересортицы. Нелепое и бесхозяйное небрежение нашим словом.

Всеволод Вячеславович потрогал яблоневую ветку.

— Язык, язык! Лицо эпохи...

Язык уходит, язык приходит. Так и всегда. В наше же напористое, созидательное время перемены в языке свершаются буквально с ураганным темпом и размахом. С каждым годом отмирают огромные пласты лексические; и это, согласитесь, непреложный и закономерный факт. К той же, например, деревне присмотритесь. В ее повседневном обиходе давно уж нет трехполки, нет серпа, цепов, при молотье набивших руки, нет

в полях полосок, узеньких и скудных, как выношенный поясok сиротский. Из реального деревенского обихода все это уж давным-давно ушло или на избяные чердаки переселилось. И ничего в том необычного и удивительного! Повторяю, кто сейчас в деревне помнит, какой она была при бородатом старосте, трехполка? Единицы только редкие найдутся, глубокие старики. А таких теперь по пальцам всех пересчитаешь.

— Вспомните петровскую эпоху, петровские реформы,— продолжает Всеволод Вячеславович.— В том числе реформу языка. Не только обрезали полы у кафтанов, не только бороды сбривали при посмешище всеобщем. С применением серьезных административных мер прочищали речь посконную боярскую, подъяческую лексику всячески причесывали. Дело с языком на матушке Руси нередко до реформ серьезных доходило. Еще Ломоносов Михаил Васильевич к тому причастен, помните.

Язык уходит, и язык приходит; это и есть жизнь. В языке нет вакуума. Язык — орудие национального общения, язык — народное богатство, которым каждый пользуется. В нем наши тревоги, чаяния, надежды, наша неизбывная, и горестная, и радостная повседневность. В языке отражены важнейшие общенародные события, трагические потрясения. Язык войны, язык мирного строительства и созидания — сколько в нем существеннейших привнесений! И не всегда оправданно кивать на плакальщиков языковой удушки (хотя в значительнейшей мере и они правы). Защищать язык от засорения, нивелировки нужно, разумеется, всегда, не кампанейски. Защищать от чванства, от высокомерного презрения, скажем, к просторечью. Но бесполезно нам размахивать руками против эпохальных изменений в нашей лексике и нашем речестрое. Тут уж, брат, смирись и принимай языковые новшества как должное.

— Итак, с одной стороны, язык усыхает, а с другой — обогащается стихийно, бурно, с размахом беспримерным. И такого еще не было в истории... Не в почете коромысло, прясла, лапотки? В этом, уверяю вас, процесс закономерный и естественный. Движение разговорного и литературного языка подобно движению огромной реки. В ее поток вливаются тысячи мелких струй, притоков, смешиваются, приобретают основной характер, тон. Представьте, сколько новых слов принес в деревню трактор. Технические термины, вроде «радиатор», «смазочное», «выхлоп», «фары», «стартер», нынче столь же обиходные в деревне, как то же коромысло, изгородь, рундук, поскотина, телега. А ведь сколько новых и диковинных машин в деревню поступает! Следовательно, в литературу нашу, в просторечье, вообще в употребляемый живой язык привносятся огромные пласты лексические. Привносятся и изменяют не только

словарный состав, но и вносят новую тональность, ритмику, особую стилистическую структуру, колоритность. И, разумеется, сегодняшний язык все более окрашивается индустриальной и технической оснасткой преимущественно.

— К аркадским пастушкам возврат закрыт.

Я рассказываю Всеволоду Вячеславовичу такой случай.

В одной рукописи были закавычены и сплошняком усеяны вопросами, ехидными пометками самые ходовые, невозбранные российские слова, вроде: *осто ж ъ е*, *коро мы сло*, *ка лит ка*, *то пори ще*, *об ло ги* и *ча дит*. От богатой, яркой, сочной лексики оставлено лишь нечто обескровленное, бездыханное, без единого живого микроба в слове.

— Не испытывает этого редкий из писателей,— заметил с опечаленной улыбкой Всеволод Вячеславович.— И главное: какой-нибудь безусый паренек из редакции расправляется категорически и беспощадно с писателем маститым, эрудированным, посвятившим языку всю жизнь. Чертовски порой обидно, горько: не редактор — явный бракодел издательский. Сплошной конфуз!..

Такие бракоделы как огня боятся даже и малейших признаков народной лексики, боятся речевых народных форм. Хотя многие из этих форм использованы с успехом классиками, лучшими советскими писателями. Областные диалекты? Просторечье?.. Боже упаси даже и от умеренного их использования в советской прозе! Литературные пуристы забывают, что стихия просторечья — эстетически активная стихия, а отнюдь не грубое сырье лексическое. Словарная масса просторечья не складывается, как пришлось. В ней строгий, никогда не затихающий отбор, отсев, движение к красоте устойчивой, общенародной. Грубые, корявые, неблагозвучные слова народом отвергаются с решительностью и презрением.

— Просторечье не язык второго сорта, не язык-хлам. Со всем не грубое словарное сырье, способное лишь портить литературное произведение.

При следующей встрече снова разговор о языке. Обычно тихий, удивительно уравновешенный в беседе, Всеволод Вячеславович на этот раз явно волнуется. Спрашивает: радует ли что-нибудь на этот счет в деревне, в главной поставщице всяческих языковых жемчужин, перлов?

— Утешительного тоже мало?

Припоминается один довольно любопытный разговор с периферийным газетчиком Редедей. Журналист с филологическим образованием, словоохотливый Редедя мне рассказывал: встретишься, бывало, с углежогом в глухом заболотье лесном.

Плюгавенький, сермяжный, волосатый. На коротких и кривых ногах. В лохматой бороде угольная теплая патья, то есть мелкая пыльца и крошка от перегорелых головешек. В слове неразмашистый такой, натужный, и комкает слова, и недовысказав, проглатывает их, жует, как жвачку. Не речист и косплет, как говорится, этот конопатый пустынный лесной. А уж заведет нескладистую свою речь — заслушаешься! Каждое слово — ядрышко! И, слушая его косматое, нескладное косноязычье, ты будто свежестью какой-то хвойной и процеженной оплеснут.

— И все-то, все у этого бородача свое, лесное, все кондвое, все углежогово. Вся речь его без слов-затертышей, без слов-обносков. Свой лад, свой строй, по-своему пропитанное и окрашенное в свою расцветку каждое словечко. И хлюкает и косноязычит, а все от себя.

А что встречаешь зачастую, беседуя с людьми на лесосеке, на пасеке, в саду, на полевом колхозном стане? Или среди наших сельских педагогов, этих, так сказать, строителей, конструкторов живого языка? «Приятную, свежую речь с сочным местным наречием сегодня встретишь только у требовательного к себе прозаика, описывающего людей села, земли! — писала как-то мне одна приятельница, — рассказывал Редедя. — И одеваются и разговаривают теперь в деревне нивелированно». Областные диалекты? Но откуда же им быть, скажи! В костромской деревне, в станице волгоградской одни и те же радиуроки по языку, одни и те же лекции, беседы с громкой читкой. В одних и тех же примелькавшихся приемах написаны репортажи газетные.

— Мне приходится все время воевать с редактором: словарный пустоцвет не веселит! — продолжал Редедя. — Вникаешь в людские переменчивые судьбы и тревоги... Дым коромыслом! Взлет, размах, удача за удачей в судьбах человеческих. Прямо-таки дух захватывает! А начнет рассказывать тебе этот обладатель удивительного счастья... нечего записывать в блокнот. Спрашиваю как-то бабку лет под девяносто: «Как пройти к Собачьему болоту?» А она в ответ махнула влево клюшкой: «Магистралью добрайся, автотрактом!»

— Я был обескуражен и ошеломлен, — передавал Редедя. — Ведь сколько бы душевной ласковости и сердечной теплоты от нее услышал я на этом незнакомом дорожном перепутье! Старуха назвала бы мне все субори, лядины, пережбины на пути к болоту. Сохранила бы все поэтические, нежные народные названия лесных урочищ возле этого Собачьего болота... Нет, что там ни толкуй, а к нивелировке языка мы сами бесхозяно прикладываем руки.

Вспоминается одна из самых ранних встреч... Середина двадцатых годов. Живший тогда на Тверском бульваре Всеволод Вячеславович иногда любил уединенно побродить по укромным уголкам столицы. Любил, как сам говаривал, вразмашку потолкать ногами и проветриться часок-другой после особенно затяжных и особенно заполненных трудом ночей. И вот однажды он порывисто схватил меня за плечи в небольшом китай-городском спуске-переулочке, где мы нечаянно столкнулись с ним почти в упор.

— Вы должны быть весь колосяной, весь оржаной, соломистый, с душистейшей присыпкой земляной, поймите! — залпом, ничего не объясняя мне, торопливо заговорил он, напирая на меня до удивления сильной своей грудью, припорошенной снежной пылью. — Слышите, с землицей прямиком с отвала, с лемеха!..

И, радуясь прозрачному, как он назвал, зарядьевскому пробному младень-морозцу, все отжимал и отжимал меня с недавно размеченной плиточной мостовой к чугунному, без фонаря, столбу. Был он, помню, необычно радостен и необычно возбужден, размащист, одетый с ног до головы изысканно, с иголки. Внушительная меховая шапка — как корона, с бархатным боярским клином. Смолянисто отливающее, с разутюженными карманными накладками модное ворсистое пальто. Широкий воротник так и полыхает отборным баргузинским соболем. Массивная, с финифтяным патроном тросточка.

— Вы каким же лихом тут?

— Завернул напомнить скорняку. Мотаает.

— Овчины деревенские, небось, приволокли?

— В переточке сиводушка. Для жены.

— О! Дела уж и с мехами затеваются?

— Задуман воротничешко, Всеволод Вячеславович.

— То-то ж тут мездрой покуривает!

И мы прижались с ним вплотную к перепоясанной полосовым железом, заколоченной лабазной двери с прорезным жилым оконцем, в котором с грохотцем, пустым ведерным лязгом вспыхивало что-то синее, искрящееся, вихревое. В фортку наносило паяльной кислотой. Да и в безудержно смеющихся глазах Всеволода Вячеславовича тоже полыхало что-то разудалое, ликующее, с внутренним веселым огоньком.

Осмотревшись кругом, сказал:

— Зарядье! Вотчина мастеровщины с древностей.

Каждая встреча с Всеволодом Ивановым была для всех его знавших праздником. Уже одно его присутствие всякий раз и

радовало и как бы окрыляло. Писатель был он самобытнейший, блестящий. Немало всего повидал, немало всего пережил и передумал. Уже и в те свои писательские годы он изумлял безмерным и тишайшим своим добродушием, застенчивостью и глубокой, подкупающей, я бы сказал, какой-то по-домашнему мирной доверительностью, простотой. Его на редкость целомудренная, по-степному мягкая и мешковатая застенчивость и тогда уже была известна в широкой писательской среде. И я совсем переконфузился, опешил, увидевши его таким напористым, шумливым, что было столь несвойственно его необычному внутреннему облику.

Уж не страхлась ли, думалось, в морозное то навечерие с писателем какая-нибудь уличная оказия в этом старозарядьевском, допустимо, не совсем надежном уголке? И, как бы отвечая на мое недоумение, Всеволод Вячеславович снял с моих плеч руки и больше тормозить меня не стал. А вскоре разъяснилось и его недовольство мною. Спускаясь по обледенелым плитам к зияющему в стене пролому, он заговорил неодобрительно, с горьким и обидным осуждением о моих последних дорожных зарисовках, написанных, как я теперь смотрю, лохматой и неряшливой скороговоркой, с маху. Без отбора и без всякой связи, напех пересказывались всяческие пересуды деревенские о налогах, свадьбах, местных промыслах, о робко зарождавшейся сельской кооперации. Язык случайный, торопливый, серый. И без сколько-нибудь серьезных размышлений, выводов.

Вспоминая этот давний эпизод, я до сих пор с растроганным волнением дивуюсь на себя: ведь сорок с лишком лет с того уж минуло! И, однако, даже и теперь я слышу как бы втяв его вообще-то непорывистый, глубокий голос, всегда довольно мягкий и приглушенный. Как будто разговаривает с вами в наглухо закрытой войлочной юрте степной.

— По намекам, да еще весьма и негустым и малоубедительным, — отчитывал сурово Всеволод Вячеславович, — в злополучных ваших зарисовках просекается, пожалуй, эта перебудораженная полевая сыть. И лесное ваше староселье: деревнюшка — как на татарском тагане котел. Кипит! А вот словечки, хочется ругнуться, словечки — пересыпчатая шелуха у вас. И точно на подбор! И с препоспешной подмалевкой тоже не скупились: нахлестали — нипочем не одолеешь! Словно ветровал у медвежья логова. К чему? Ведь уж пора бы, парень, по-хорошему остепениться, пора уразуметь, что безотказная-то бабушкина заурочина — лучше перекланяться, чем недокланяться — в привередливой, капризной писанине нашей преимущественно действует в обратном смысле. В особенности там, где, как читатель судит, пишем-хлещем без побасок. Без облагораживаю-

щей всякий труд радивости... А еще хват и северянин прозы-ваетесь! Кондовый землепахарь от сохи... Ужасно!

Повозился с непривычными и диковинной внушительности форсистыми очками, каких еще и видеть мне ни у кого не приходилось.

— Образцово стыдно и ужасно! Слышите!

В тесном переулке, круто повернув, улочка опять вильнула кверху. Вдоль древней Китай-городской стены с неряшливым затыльем потянулись неказистые и залатанные сараюшки да уложенные еще с лета плашником, пластинами ольховые, березовые, еловые дрова-сушняк. Скучились заполненные до отказа деревянные лари с приставленной метлой, напомнившей о только что вышедшем на дежурство дворнике. И дворник в самом деле оказался налицо. Завидев нас, он стал спускаться вниз с пучками упаковочной соломки в фартуке. На всякий случай уступив ему дорогу, Всеволод Вячеславович свернул в ночной снежный занос.

— Выберемся, ваша милость, в город? — улыбнулся дворнику, совсем как старому и доброму приятелю.

— Не на небесах гуляешь. В городе, — с подковыристой ухмылочкой ответил тот. — По-старому Зарядье — город коренной. А до небес-то, сказывают, семь верст, и все лесом.

— К небесам завечеряли, кажется.

Дворник независимо швырнул в ларь содержимое фартука.

— Полезешь и дале, лишь бы дали.

— В верховные, ха-ха, палаты?

— А что? Ежели, сказать, припрёт?

— Высоконько, орел, вроде бы.

— Так точно! — хмыкнул дворник. — Зато на посиделки к ангелам.

И, обеими руками сняв несусветный свой малахай, он с достоинством поклонился Всеволоду Вячеславовичу.

— А чтобы в пролаз в стене — туды валитесь!

И через левое плечо махнул скоробленной рукавицей.

— Исполать тебе, дружище! Исполать! — козырнул ему Всеволод Вячеславович и, стряхивая с ног прилипший снег, назвал удалого зарядьевца исправнейшим молодчиной.

Дворник достал из-под фартука колотушку и внушительно забрякал. И тотчас же из залатанной собачьей конурешки послышалось по-вольшему тоскливое, на всю ночь скуленье.

— Уберемся восвою, — тронул меня под локоть Всеволод Вячеславович. — Этот молодец зарядьевский нас сопровождать не станет.

Трущоба и великая кирпичная стена остались позади. Над необозримой теснотой разбегающегося в сумерках Заречья еще

переливались сполохи догоравшей холодной зари. Густел и колыбался стелющийся над разводьями морозный туман. Был тот наполненный зимним покоем и зыбкими вечерними полутонами городской послеслужебный час, когда страсти и тревоги дня укладываются на душе с какой-то безотчетной, обнадеживающей узывчивостью, спокойной, примиряющей, немножко грустной. Лишь слегка покуролесивший в ту зиму, несуетливый русский наш декабрь, припахивая дровяными зарядьевскими дымами, схожими с овинным хлебным куревом, в эти дни уже совсем по-настоящему вступал в московские свои права. Не только кирпичи в стенном проломе, но, крепчая к ночи, казалось, даже самый-то морозный воздух лучисто закуржавел.

— Зарисовки и этюды? Значит, прежде всего народно, красиво, всерьез? — взялся опять за старое Всеволод Вячеславович, удало протыкая тростью рыхлый снег. — Бытовые сценки и дорожные раздумья? Значит, безупречно, с умом, свежо? Мыслительно, безусловнейше. Значит, с этими, как я понимаю, исполнительными предъявлениями к себе вы и за рабочий стол садитесь? Думаю, не иначе. Ведь вырастить в себе писателя уж куда-куда труднее, чем жито, конопельку вырастить. Было бы не так — писателей, художников, поэтов и скетчистов, право, стало бы намного больше пахарей. Стало бы, без каламбура! Но вы, смотря, все хмуритесь. Вы, кажется, не допускаете? А ведь я не лукавлю.

К набережной от пролома в древней Китай-городской стене была пробита тропка, забросанная сапожными обрезками, полосатой котельной золой. Тропка неудобная, субродистая, и мы часто останавливаемся. Обходим то и дело пухлые, развороченные саними кучи снега. Только ободнявши стихнул бушевавший всю ночь снегопад, и вдоль наспех и отдельными квадратиками, выемками расчищенной трамвайной линии с обеих сторон горбились еще не облежавшиеся снежные валы, пышущие морозной свежестью. И мне было тройней обидно, что именно в такой ядреный и картинный вечерок понадобилось, видите, известному писателю распекать меня, что называется, без малых скидок и вovsky. Ни раньше, ни потом, соприкасаясь с Всеволодом Ивановым подчас довольно близко, я таких кипучих назиданий от него не слышал.

— Слов нет,— говорил мне он, посматривая на лиловое мерцание сугробов с отпечатками широких деревянных лопат.— Слов нет, наше время — напирющее время, с подъемами на крютизну и перевалы, еще не изведенные.

А не положено, негоже прыткому-то кавалеру молодому раскидывать туда-сюда слова, захватанные, как полотенце при запущенном умывальнике. К писателю перебродившее при-



ходит слово. Приходит с сорок первым потом. Так понабери-тесь храбрости, и пушай с оскоминой, но обязательно по-молодечки, втемяшьте-ка покрепче в голову: писательское полное тягло мирское не легче деревенского земельного тягла. Которое и в самом деле с матушкой несытой худобой-скотиной, в самом деле с черной лебедой по сумежьям. С беззубой деревянной боронёшкой. И главное: с немилостивым, впроголодь, мужицким недородом. Совсем как в земских декламаторах изображается.

— Я думаю, согласны в этом-то со мной?

Всеволод Вячеславович отшвырнул тростью увесистый обренок валенка и посторонился, чтобы пропустить спешившую за нами женщину с запаянным самоваром. Воспользовавшись минутной паузой, я уныло пожаловался: неувязка, мол, с письмом. Много и многое в этих творческих тонкостях, хоть о стенку лбом, совсем непонятно. Вроде бы и видишь много и слышишь вроде бы немало все-таки. Казалось бы, с людьми, в поездках все время хлопочешь.

— А засядешь за этюды или жанровые сценки,— я особо напирал тогда на всякие словечки книжные,— засядешь писать: в одну сторону валит — бросай!

— Кхе!.. Кинь да брось, значит? — засмеялся, осуждая мою неискренность, Всеволод Вячеславович.— Не опасайтесь! Хлебнувшего печатных сладостей — живым от них не отдерешь. Этим, брат мой, недугом, писательством, заболевают на всю жизнь.

— Вам наверняка виднее.

— Так и не вам, расчетистому мужику, внушать, что писательское словосеяние тоже ведь с тревожными хозяйскими надеждами учиняется для урожая. Что наша жатва нынче не для избранных; она для упорядочения всей жизни. Чтобы, как я понимаю, самую большую на земле страну из всероссийского Зарядья вывести.

Переждал мчавшихся в обгонку лихачей (одни саночки с подгулявшими и вовсю горлающими седоками, другие — с кипами мануфактуры и стеклярусной люстрой на коленях у совсем еще молоденького милиционера) и все с той же бескомпромиссной укоризной напоминал мне о высоком писательском призвании и беспощадной требовательности к себе. К тому же — и об этом постоянно, об этом неусыпно помнить надлежит! — ведь и сама цена дурного вкуса слишком разорительна.

— Да, тут я особо напирваю: она до безрассудства мстительна и, как о ней ни посуди, в хозяйстве нашем целиком уронна. Вроде вымерзания и вымочек на отцовской вашей полосе в Дертях. На полосе, как вы же и канючите, с материковым выпа-

ханном беляком, с кричащими над горькой пашней куликами.

«Даже и канючите, мужицкое горюете то есть, заметил! Знает даже беляки: кислую, простуженную, мертвую подпочву на бездольной, неподатливой крестьянской пашне!»

Необстрелянный и только еще робко пробующий, я был поражен: вот они, доподлинные знания земельные! Кровные заботы да тревоги деревенские! Таких не заполучишь с книжных полок, с чужих слов. Они могли прийти, скопиться только после трудных перегонов, после жестких встрясок и перебутырок на крутых дорогах жизни. И эта его истовая связь с землей, с народом отличала все его писательское дело, всю его большую писательскую жизнь, которую он сам же с улыбкой тихого добросердечия называл заполняющей все время длинной пашней. К тому же Всеволод Вячеславович был склонен видеть в каждом только одно лучшее. И не удивительно, если в его самобытном облике с каждой встречей открывались для его друзей все новые и новые черточки, новые, чистые грани. Открывались постепенно, год за годом, в продолжение всей его многогранной жизни. Но все это стало ясно и упрочилось во мне потом, потом...

И Всеволод Вячеславович, весело подтрунивая, ободряюще, сверну вниз подмахивал мне свободной рукой.

— Подтягивайтесь, кавалер! Не отставайте!..

Напруживая провода искрящейся штангой, по набережной бежали короткие звенящие трамвайчики с счастливыми, как мне казалось, не знавшими писательских отчаяний и передря людьми. Смех и суетня прохожих. Перешагнув досиня истертые, с узкими желобками рельсы, Всеволод Вячеславович остановился у чугунной ограды набережной. Пробежавший буквально к нам впритирку переполненный вагончик на мгновение осветил нас. И этого мгновения было достаточно, чтобы прочесть на моем лице и глущую, обидчивую горечь и крайнюю сконфуженность.

— Да вы, позвольте... что же? Вы, я смотрю... того? — с веселым замешательством промолвил Всеволод Вячеславович. — Вы, смотрю, обиделись? Надулись? Уж вот не ожидал! А я еще спросить вас собирался. Мол, к Язуе своей теперь или со мной — к Блаженному? А вы, оказывается, недотрога, нюня! Совсем нещекотун! Вот как!..

От неожиданности он и сам, по-моему, немножко ступешевался. Все шло хорошо, как тому и быть следует. Отчитывал, шерстил неискушенного молодого человека, осудительно выговаривал за ляпсусы, орехи, несуразности. Укорял за дело, правильно. Пусть с сознанием не столь приятного, но все же пре-

восходно исполняемого долга. И вдруг — такая комиссия! Огорчил, смутил, совсем растревожил парня. А всякие, как он говорил, психологические блокады и диверсии, ущемляющие самолюбие сердечные уколы были не в его характере. Стало быть, просчет. И Всеволод Вячеславович на косую сажень расправил по-ладному откованные плечи, напористо заспешил вперед и, подтягивая меня к себе, остановился близ забытой кучки сколотого льда на тротуаре.

— Так-с! Стало быть, не по-мужицки гордый? Учтем! Но, смотрите, как бы это превосходное самопочтение, кавалер, не повредило вам!

И он снова стал трясти меня за плечи, с приливом жаркого великодушия заглядывая мне в глаза:

— Впрочем, вашу разобиженность мне вполне легко понять. Самим испытано, изведено, да еще и в полной мере. Вдоволь, говорю, и сам хлебнул этого цветочного, сказать, напитка. Знакомый бальзам! Без него же и в искусство тернистое не внидеши! Зато ведь и превозношу я, слышите, превозношу и почитаю в человеке эту светлую неискушенность керженскую. Ведь это еще девичья, еще деревенская, чудеснейшая в нас краса — застенчивость. Подольше бы, побережливее ее хранить. Не раскидываться бы, говорю, направо и налево этим преотличным, этим щекотливым чувством. По-моему, без древней-то матушки-стыдобушки дышится не так-то сладко человеку. И уж, во всяком случае, не так красиво.

В этих словах был весь Всеволод Вячеславович.

— Так вот и чувствую, ценю я вашу золотую разобидушку лучше всего потому, что вижу: доброе внушение мое — как грузы в кузов! К месту.

Потрогал модным башмаком в сверкающей калоше подвернувшийся осколок льда и, нацелясь зорко, с забавной удалью отбих его ногой за чугунную ограду.

— А сиводушка? Полагаю, в порядочке?

## 5

Я довольно долго и довольно тяжело переживал укоры Всеволода Вячеславовича. Неожиданная зарядьевская встреча произвела в моем сознании целый переворот. Вспоминая давнее, далекое, испытываю растерянность, смущение: по молодости мне казалось, напечатано — и с плеч долой! А выходит, нужно семь потов пролить, чтобы, знатно поскородив пашенку, что-нибудь посеять на печатной, всежитейской полосе, как рассудительно, пусть и с запалом крепким, осуждающим говорил мне

Всеволод Вячеславович. Как всякий очеркист, занятый текущей публицистикой, я всеми силами тянулся (и, конечно, преждевременно тянулся) к так называемой чистой прозе. Опыта и мастерства еще и на медный алтын не было, а хотелось, засучивши рукава, засесть, допустим, за объемистую хронику или за цикл лирических, жанровых, то есть бытовых, новелл, легкая исполнимость того и другого казалась мне одинаково достижимой.

Я собирался сократить редакционные поездки по заданиям. Хотелось хоть на время отойти от газетной спешки, гонки. Да и, признаться, изрядно уж поизмотала суতোлка постоянных переполненных дворов, сцеженный квас и кислые щи с хреном в неопрятных изповских харчевнях. Дорожных удобств не было, скорости черепаши, не то что при теперешней турбовинтовой и реактивной авиации...

Эх, дороги, дороги!.. Пять суток — ветер, метелит, дождит. Хлипкая грязь, снег, морокуша. Пять суток в легкой одежке, в санешках либо на раздерганной телеге с заморенной клячей. Отчаянная проселочная тряска. И в завершение — один недолгий полувечерок, один денек неполный в шуме-гаме, спорах деревенских сходок. То ли дело за эпическое полотно или развернутый, допустим, цикл засесть!.. Однако, выслушав меня, помню, Всеволод Вячеславович выразительно покачал головой.

— Неопытность и вздор, парнюга! Горячий заскок.

— Нужна, конечно, база материальная.

— Опытность нужна. А вам, признайтесь, еще довольно далеко до этого.

Я ждал одобрения и похвал, а писатель меня и тут осуждает. Всячески и всерьез ратует за газетные поездки.

— Газета? Да ведь это преотличнейшее в нашей выучке! — с одобрительной веселостью говорил он мне.

Кроме того, Всеволод Вячеславович и сам, оказывается, был с газетой связан. Сам с нее, припоминает, начинал: с «Приишимья»!.. Большая хлопотунья, а беззубая да колченогая была, через каждый шаг прихрамывала. Того и гляди, в придорожный кювет свалится. А тоже суетливая, речистая, с размашкой тоже на всю пыльную околицу Заветет, бывало, разговор о степных базарах, салотопках, конских ярмарках — резонных строк и доводов немало замелькает на газетной полосе. И не случайно эта мирно опочившая провинциальная газетка, думано ли гадано, к Горькому молодого Всеволода Иванова привела!

— Так что вы, пожалуйста, не городите вздор, — говорил Всеволод Вячеславович, пропуская длинный обоз ломовиков. — В газете прежде всего исправность да неукоснительная прежде

всего дисциплина спрашивается с писателя. Независимо от ранга, от метафорической оснастки, так сказать. Дисциплина — закон непорушимый творчества. Срок есть срок для всех. Его не отодвинешь — выдай! И кто из нашей братии с газетной долей сладил, у того, я посмотрю, малиновая молодость.

Теперь мне в этом, разумеется, и грустно и неловко признаваться. Однако было точь-в-точь так. Что можно сказать в оправдание? Молодость! У молодости свои ошибки и свои просчеты. Свой полет, прицел, свои уразумения, самооценки, своя ко всему приторочка. Был еще неопытен и зелен, с краешка, играючи касался жизни.

— Пустяки. И у Машки бывают промашки! — посмеялся, только и всего, Всеволод Вячеславович, когда я много лет спустя признался ему в этом.

Однако последствия зарядьевской встречи для меня не ограничились одними только профессиональными прозрениями. И в этом опять-таки сказалась необычайная отзывчивость и человечность Всеволода Вячеславовича. Светлые и благороднейшие качества, которые он сохранил на всю свою жизнь.

...Я снимал за Яузой небольшую в деревянном мезонине комнатку, похожую на узкий полутемный коридор. Удобств никаких. За стеной все время тюкал топором, строгал старик. Даже умыться приходилось бегать в промозглый подвал. Словом, помещение столь неважное, что я стеснялся приглашать к себе даже самых близких, невзыскательных друзей. И теперь совсем не помню, каким чудом разыскала здесь меня курьерша из «Красной нови» — самого солидного и притягательного для пишущих тогдашнего журнала. Знакомый редакционный работник, бывший воспитанник старой семинарии, наспех начертил в записочке: «Елико возможно, на самой скорой ноге приглашаетесь к А. К. Воронскому. Он ждет, и не один». Об этом же передавала и курьерша.

Являюсь, как говорится, с прискочкой. Людно. Все двери открыты, сотрудники и посетители входят и выходят без доклада. Во всем удивительная деловитость, простота, приветливость, непринужденность.

Отыскиваю виновника записки — Виссариона Ивановича Казанского. Высокий, выпуклоглазый, с вывернутыми наружу красными веками, он просматривает верстку очередных журнальных листов. Отложив гранки, сразу же проводит меня в соседнюю комнату, знакомит с редактором Александром Константиновичем Воронским. С улыбкой удовлетворения кивает тут же сидящему Всеволоду Вячеславовичу.

— Просимое доставлено. Могу быть свободен?

Я уже слышал: между когда-то близкими друзьями Ворон-

ским и Всеволодом Ивановым все чаще замечался какой-то холодок. А тут, смотрю, сидят рядом, по одну сторону стола, ладком разговаривают. И даже по стакану остывшего чая перед каждым. Потрогав у виска реденеющие волосы, Воронский сквозь пенсне скоился на меня: вот-де собираемся показать в журнале новое в деревенской жизни. Не попробовали б вы принести нам что-нибудь в редакцию?.. В таких солидных, толстых журналах я только еще начинал печататься. Да и то лишь с самой, впрочем, мелкой хроникальной мелочишкой. И вот такая честь! Я смутился, поблагодарил. По-видимому, уже замолвивший за меня перед этим не одно словечко теплое, Всеволод Вячеславович без долгих предварений вводит меня в курс дела.

— Вот Александр Константинович любопытствует: кто сегодня заправляет в деревенских ТОЗах, то есть в крестьянских объединениях по обработке земли, в кредитных товариществах? И как осуществляется теперь совместная покупка земледельческих машин? Скажем, этих сеялок, дисковых, всяческих новинок крестьянских? Выкладываете, с чем пришли! Может, из котомочки-то вашей деревенской что-то и приглянется редактору?

Судя по высказываниям, по уверенности, деловой дотошности, Всеволод Вячеславович эти деревенские дела, порядочки знал, смотрю, и сам до щепетильных тонкостей.

— Да, хотелось бы послушать,— приглашает к разговору по обыкновению собранный и деловитый А. К. Воронский, предлагая и мне чай.— И не только о ТОЗах. Расскажите вообще про новое в деревенском быту.

Я еще не разобрался в тонкостях журнальной кухни, и мне трудно было самому решить, что же, собственно, от меня требуется. В лесных поселках и лесных починках нашего Заволжья с небывалым натиском бурлила крутая крестьянская новь. Крикливые мирские сходбица («Мир не колоть!», «Мир по большикству поставить!»), все более размашистые, все чаще самостийные, заполняли беспокойным галдежом и без того-то взбудораженные до крайности деревенские будни.

Всеволод Вячеславович отхлебнул из стакана, посмотрел на Воронского: о том ли? И как?.. Александр Константинович поправил пенсне и, очень осторожно направляя разговор, стал вести беседу уже с карандашом.

— Дослушаем давайте, Всеволод Вячеславович.

По его словам, как вспоминаю, все, о чем я рассказывал редактору, рассказывал именно так, как следовало. Новая экономическая политика кончалась. Все заметнее приближался великий перелом. Старая общинная сила, продолжаю я, в деревне уже надломлена. Но скрытых своих влияний крепкая кре-

стьянская верхушка еще не сдавала. Очумевшее кулачье всячески увертывалось от налогов, справедливых сборов общинных.

Всеволод Вячеславович просит меня привести рассказанный мною еще раньше случай, как некий оборотистый кулак за единый мах из одного хозяйства три хозяйства выкроил. Для отвода глаз он фиктивно разделил богатое и крепкое свое хозяйство между сыновьями и своим односельчанином — податливым зятем. Для видимости передал им большую водяную мельницу, гуменные постройки, маслобойку, скот. Так же поступил и с крупным земельным наделом, раздробив его на несколько частей. Зачем, спрашивается? А затем: чем меньше земли за хозяйством, тем ниже налоги, легче раскладки общинные. И такие изворотливые «хозяйчики» всех знакомых, всех нищих и калек, доверчивых бабылок, семиродных бабушек чохом превращали в фиктивных домоводок и приемышей, в тягольных испольтниц, якобы наделенных землей.

— Почему плошают в сельсоветах? Куда смотрят власти местные? — удивляется Воронский. — Казалось бы, после недавних-то комбедов и не столь уж давних, кстати, продрозверсток социальные процессы в деревне, как бы это сказать... приобрели особенно острый классовый характер.

И снова, подбадриваемый Всеволодом Вячеславовичем, я продолжаю рассказывать. Да, в сегодняшней деревне машины машинами, а все к земле, к налоговой системе сводится. Земельные хапуги и мирские воротилы не останавливаются ни перед чем: и спаивают иногда и дешевенькими подачками, бывает, подкупают бедноту. Ловчат и изворачиваются на все лады.

И снова под улыбочку Всеволода Вячеславовича я рассказываю, как влиятельный мирской воротила в деревне Ладыгино приволок в ячейку, к комсомольцам, старенький граммофон с пластинками. Безлошадники, бестягольные, слабощные испольтники все увереннее поднимали голос на поземельных мирских сходках. Но ведь и кулацкая верхушка тоже не дремала. Перекрашивалась под ревнителей землеустройства, активистов первых ТОЗов, сокрушителей трехполки. Рядились под сочувствующих деревенской комячейке, клеверу, суперфосфату, железной бороне «зиг-заг», первому детекторному радиоприемнику. Разговоры о совместных сеялках деревенской верхушкой тоже затевались для отвода глаз.

— То ли милосердие, то ли звериный оскал, все теперь в единой кошелке деревенской: попробуй-ка тут разберись! — задиристо, хотя и не совсем толково говорил я.

— Всеволод Вячеславович мне передавал, что вы были председателем сельсовета? — сказал Воронский, отодвигая чайный стакан. — Мы, признаться, думали с ним прощупать вас сначала

ла насчет бытового очерка. Красные вечорки, свадьбы, октябрины. Или женщина, скажем, крестьянка, и деревенский ликбез. Но я начинаю склоняться к расширению деревенской темы. Точнее, к аспектам социальным и экономическим.

Перестегивая пенсне, Александр Константинович Воронский заглянул в свои карандашные пометки на столе.

— И, однако, у меня все тот же вопрос: сельсоветчики, их политический уровень? Из какой они крестьянской среды?

Вот-де, Всеволод Вячеславович мне говорил, что картина, как вы наблюдали в некоторых сельсоветах, не совсем приглядная. Конечно, не всюду, а все-таки... Заглянешь по приезде в такой сельсовет, в сельсовете, точно, описи подворные, протоколы сходов оформляются как бы и на самом деле в интересах бедноты. Так же, мол, расписываются страховые полисы и податы, недоимки и местные сборы. А копнешь поглубже — земельными переделами и налоговой раскладкой заправляют бородатые баржевики, лавочники, прасолы, мельники, мироеды, скупщики мочала, лык, лаптей, лопат. Сплошь и рядом деревенскими делами общинными заворачивает старая крестьянская верхушка. Хотя в спорах о чересполосице, покосотинах, мельничных запрудах, все более крутом нажиме на земельных воротил должен сказываться все определеннее твердый классовый принцип. «Ведь что ни говори, а советская деревня подходит к великому перелому!» — множит на листках свои пометки талантливый редактор.

— Так почему ж плошают в сельсоветах? Куда смотрят власти сельские? — в тех же самых словах снова спрашивает настойчиво Воронский. И даже крутанул свои листочки по столу.

— Что мог сказать я опытному редактору? Человеку с обширной и глубокой социологической эрудицией, партийной стойкой непоколебимостью? Александр Константинович, думалось мне, наверняка и сам об этом знал. Знал и понимал, что в те памятные годы не только я, вчерашний деревенский выходец безусый, но и некоторые архистепенные, на зависть наторевшие писатели сплошь и рядом понимали далеко не все, чем жила в то время российская деревня. Спасибо, выручил меня и тут Всеволод Вячеславович.

— Что же вы? — усмехнувшись мне, всплеснул он над столом руками. — Отвечайте, опираясь на премудрую жизнь! Отвечайте и докладывайте все сполна редактору! Помните, что рассказывали мне про свою Овсяновку? Еще там, в Зарядье? В хлопотах с воротничковой сиводушкой? Овсяновка — самый подходящий, самый типичный в нашей беседе пример.

И я опять рассказываю о свежих деревенских впечатлениях из последней поездки в Заволжье. В некоторых уголках, при-



едешь, всего дворов с десяток в деревеньке. А тоже свой сельсовет, как водится. Пожни, поля небольшие, разбросанные — сборчатым дедовским армяком прикроешь, тальники кругом, болотища, синие боры дремучие! На задворках белки, чибисы с кукушками. По оконному наличнику стучит и стучит дятел. И всего-то, уточняю, горстка теремочков, двориков, сбегающих к речушке с гатью. Все соседи, приглядишься, русобровые да синеокие. Если не по батюшке, так уж по матушке все соседи наподряд либо сватья, либо свойственники, либо двоекратные кумовья. Попробуй разнеси их по имущественным-то анкеткам сельсоветским! Каждое утро своему слободочному деду, соблюдая посолонь, подворно в пояс кланяются.

— Сладко ль почивалось, государь наш батюшка, в рубленых-то сеничках решетчатых? — И пока не отзовется, помалкивают.

И степенный дед-распорядитель — дед сивобородый, важный, управляющий — говорит по-вещему, с мудрыми присловьями. Бородища с сивой празеленью Калиновый, о семи локтей, увесистый подожок. «Несчастье,— дремучий дед вещует,— несчастье — это, братушки, когда с горе-горы да под гору. А приторочину счастливую,— совсем уже бормочет непонятное,— белобокая сорока на хвосте приносит: да! Счастье — это если человек из-под горы да на гору. Если, баю, он все время кверху, кверху, кверху, сталобть!»

При засылке сватов дедище опять калиновым подожком пристукнет: «Живое о живом да и восплещется!» Без его державного распорядительства и малого шагу в слободке не ступят. С жатвой ли, с покосом, севом, с Пеструхой-новокупкой, с порушением дедовской отжившей горенки — всегда и со всем к нему. Ну, и заправляет по заветам допотопной старины такой мирской вершитель. Мирской патриарх. Перед выборами, скажем, с целодневным галдежом судят-рядят слобожане: «В сельсовет — Митрюху! Дюжистый!» «Нет, черед пришел Иванушку наладить врьд!» А дед-распорядитель насчет Иванушки с Митрюхой хмурится. И с его калиновым, с желваками, подожком благоразумная слободка считается.

— Сказка? — щурится на меня Воронский.

— Очень близкая к действительности! — задорюсь я.

Погромыживая стульями, поднимаемся и долго еще толчемся у стола. Растревоженный беседой, Всеволод Вячеславович вспоминает свои молодые годы.

— Знаком, знаком мне этот общинный, еще с родовой и племенной основой, прелюбопытнейший степной уклад. С повелевающим, непогрешимым мирским главой — вершителем. Патриархальный быт-уклад глубокоподобнейший! — по-особенному, с волнительной хорошей теплотой повторяет полюбившееся сло-

вечко Всеволод Вячеславович.— И свирепые, притом крутые нравы складывались, как правило, вокруг таких степных столпов. По одной половичке ходили! На такого повелителя боялись заглянуть попристальнее. А вдруг осудит и рассердится! Но и тогда не все держалось горькое, суровое, стесненное. В степи было много хорошего и раньше. И мне нравилась невозмутимая, с могучей широтой, тягучая степная жизнь. Жизнь солнечная! Жизнь плодороднейшая!..

## 6

В долгой веренице встреч и собеседований запомнился мне и такой характерный эпизод. Сереньким зимним днем я приехал наспех в Переделкино. И всего-то дела — передать для альманаха рукопись и попутно захватить уже прочитанные. Но беседа затянулась! Наконец Всеволод Вячеславович поднялся и уже отодвинул стул. И вдруг, как бы что-то вспомнив, с блуждающей улыбкой неожиданно спросил меня: как я отношусь к кирие елейсон? Сиречь, к небожителству? Я сказал, что родился в угрюмой семье заволжских староверов, и на этом протянул руку хозяину. Но Всеволод Вячеславович, притянув меня за руку, снова усадил рядом с собой.

Забыв про расписание дачных поездов, про спешку, мне пришлось с подробностями рассказывать ему, как по зимам еще до свету поднимали нас молиться стареньким огушком, как называли старшие в семье увесистый обрывок гужа, висевший над рукомойником. Молились в белых холщовых портах, в измятых ночных рубашках. Злые, перекошенные зевотой, посматривающие на темные соседские окошки, за которыми так беспробужно спали не богомольные и, как мы верили, очень грешные сверстники.

В детстве самым сильным впечатлением был приходский храм. Приходишь из мужицкой тараканьей копоти в эдакое непривычное нарядное сверкание.

Летом, помню, в церкви пахло сухим полем, пылью, топами с улицы, поленницами старых березовых дров, сложенных за папертью. Окна сторож Крот открывал, как только кончалась служба. И солнечный, игривый сквознячок, разгуливая, вымахивал с амвона, клироса, из алтаря запахи парчовых риз, оплывшего огарочного воска, лампадных фитилей, паникадильной перегретой гари. Скучная, непонятная служба тянулась бесконечно. Молельщики клевали носом. В растворенные боковые двери вливался шум берез.

Для меня, работавшего с отцом в лесу, церковный обиход был удивительной диковинкой. Там, у Васина болота, забитого глухой осокой и древесной перепревшей ломью, резал глаза едкий дым, тучи комаров над головой, грязная болотная вода, чавкающая под ногами. В дыму недвижно стояло высокое багровое солнце, показывая, что летний день еще не скоро кончится. А здесь перед тобой красивые подсвечники, сверкающий иконостас, причудливые на цепях паникадила, коврик под ногами молодого дьякона с волнистыми каштановыми волосами. Баюкающие дьячковы возгласы, молитвенные шепоты поблизости стоящих богомольцев.

Однажды, проходя с просвирками, Петруха Крот толкнул меня своим подносом. Оглядевши с ног до головы, прошипел насмешливо:

— Чего стоишь столбом! Молился бы..

Зимой, как только станут расходиться после службы богомольцы, сторбившийся Крот, фуркая водой из ковшика, подметал полы тяжелой мокрой шваброй, какими чистоту наводят вахтенные на баржах и пассажирских пароходах. В церкви угарно, душно. После отстоявших службу пахнет овчинными тулупами, лаптями, шубами да сухим настывшим сеном из саней, пропитывавшим верхнюю одежду богомольцев. Близ окованных железом больших круглых печек отдыхали дальние старухи с узелками и домашними котомками. Сонное посапывание, мирный храп.

— А ты чего принюнилась? — обшаркнет мокрой шваброй прикорнувшую старуху Крот. — Ползла бы отдыхать в сторожку.

— Бьюга на дворе, Петруха, не замай.

— Здесь вам тоже не положено, карга... угодники! — шумно шаркает длиннейшей шваброй сторож. — Храм тебе не постоянный двор... Святилище!

— Брести мне далеко до дому. Малость отдохну.

— Неопрятность еще, старая, после себя оставишь. А в приделе-то сейчас венчание будет. Вот уж облачаться начинают. Старухи поднимаются, кряхтят, уходят..

Выслушав меня, Всеволод Вячеславович сказал: «Вам нужно писать большую книгу! Роман об отмирании русской православной церкви и крушении христианства». И потом при каждой почти встрече он мне напоминал: пишите книгу.

— Злости и свечных огарков у вас хватит!..

Интерес Всеволода Вячеславовича к этой стороне русской жизни не был простым любопытством, и я хорошо знал об этом. В обширной галерее созданных им образов мы встречаем и самых различных представителей нашего не столь давнего прошлого: причетников, монахов, церковных старост, мелких мона-

стырских служек. Вспомним его произведения: «Счастье епископа Валентина», «Блаженный Ананий» и пока еще не увидевший света роман «Кремль», о котором уже неоднократно упоминалось в нашей печати. В этом романе, как передавал мне Всеволод Вячеславович, выведен, например, доживающий в глубоком одиночестве и во многом сомневающийся архиепископ, молчаливый и тоскующий свидетель стремительного крушения когда-то могущественной и всеильной церкви.

При встречах Всеволод Вячеславович полусхутя, полусерьезно не забывает напомнить мне:

— Большой роман за вами, помните!

Но дружеский его совет так и остался невыполненным.

## 7

Я вернулся как-то из поездки по своим родным местам. Свою деревню навещал я каждогодно и по возвращении нередко созванивался с Всеволодом Вячеславовичем. Его глубоко интересовала наша лесная заволжская деревня; она была при наших встречах неизменной темой длинных, беспокойных разговоров. И на этот раз после моей очередной поездки в Лесное Заволжье он с какой-то завистью меня спросил: но что вас туда так влечет? Вы наезжаете в свои места так систематически!

— Влечет природа, люди. Родина.

— И с силой одинаковой и то и другое?

— И то и другое по-своему.

— Наше сознание воспринимает мир выборочно,— уточняет Всеволод Вячеславович.— И эта благодетельная избирательность восприятия извлекает только то, что нужно из великой кутерьмы и хаоса. Иначе несдобровать бы человеку.

— Это уж само собой, Всеволод Вячеславович. Конечно, в памяти прежде всего человек засекается.

— Человек, непременно человек!.. Человек — это жест, слово, поступок, характер, сложнейшее подчас мировоззрение. Полная хроматическая гамма, так сказать. Вы, небось, влюблены в своих ветлугаев?

— Водится такой грешок, не скрою.

— Конечно, влюблены. Иначе и быть не может,— с завистью подхватывает Всеволод Вячеславович.— Край у вас кондовый, край своеобразнейший! Его даже заочно нельзя не любить. Лесные кругом люди, лесная у них и жизнь. Спать, как говорили раньше, в обнимку с медведями, а ягода скатная — клюк-

ва, сама в туески сыплется... Кто спорит, что может быть прекраснее нашего русского леса! Впрочем, писатель должен быть влюблен во все. В ивушку, нависшую над светлым омутом, в смолокурный, с накипями дедовский котел в лесу, в бормочущий лесной ручей с хвоянками, листвой опавшей. В черных, словно эфиопы, углежогов, дехтярей. И, конечно, в одинокую тропинку, воспетую на все лады поэтами. И влюбляться литератор, повторяю, должен с жаром, с ревностью тревожной, неотвязчивой. Чтобы читатель принимал на вкус, а не только под одно внушение назойливое.

Беседа затягивается на час, другой. Всеволод Вячеславович слушает, а я рассказываю, какие многотоннажные суда-исполины, суда-беляны ходили по Ветлуге! Плывет по голубой реке эдакая ошеломляющая громада с золотистым и пахучим тесом. Величаво и неторопливо продвигается вперед, как бы раздвигая берега богатырскими своими плечами. Шеймы, то есть тяжелые, негнущиеся канаты, невероятной толщины, лоты и якоря сотни по две пудов каждый. В уложенных решеточкой тесовых штабелях сумрачные арки наподобие тоннелей железнодорожных. Наверху казенки, бревенчатые избы, соединенные гулянкой и мостками с красивыми перильцами. Возьмутся сплавщики становой лот или якоря вóротом могучим выхаживать — раздольная, звонкоголосая песня льется и льется над красавицей рекой:

Эх, ходом, водом веселее,  
Придем к дому поскорее!..

Стараясь схватить и запомнить мелодию, Всеволод Вячеславович просит меня несколько раз повторить песню, мотив. Какими-то одному ему понятными скорописными знаками набрасывает что-то в книжечку.

— Вы такие песни, конечно, записывали? — пожимает мою руку чуть пониже локтя. — И они у вас сохранились, они сбереглись, конечно?

— Помню и без записей, Всеволод Вячеславович.

— Это напрасно. И рискованно.

— Сам на сойме плавал по Ветлуге.

— А что такое сойма?

— Пожалуй, и самой беляне не уступит.

— Расскажите. Интересно мне.

— Сойма — длинный, большегрузный плот. И тоже с двумя казенками и гулянкой для лоцмана. Кра́мбалы, канаты, цепи, якоря беляне, повторяю, не уступят. Управляется ре́ями, тесовыми щитами, погруженными в воду. Длинной большая сойма около версты... махиница!

Снова что-то записав в книжечку, Всеволод Вячеславович, тихо улыбаясь, удивляется:

- Кто же управлял этакой махиной?
- Неграмотные лоцмана. В лаптях, в кафтане домотканом.
- Но кто-нибудь читал им лоции?
- Старые лоцмана без лоций плавали.
- Вы это растолкуйте, пожалуйста.

Пытаюсь объяснить любопытствующему собеседнику, но, откровенно говоря, вразумительного ничего не получается. Лоций под руками нет, пойменные признаки на несколько километров водой залиты. Вода и вода вокруг. Одноцветная, молчаливая, глазу зацепиться не за что. И только изредка макушки кустиков каких-то.

— Так как же все-таки? — нетерпеливо тормозит меня Всеволод Вячеславович. — Ведь не колдуны же лоцманы?

- Колдуну хозяин сойму не доверит.
- Тогда в чем же дело? В чем секрет, по-вашему?
- Навык, говорят, выручает. Профессиональная интуиция.

Птичья память, птичья зоркость, не иначе. «Профессия наша родовая, фамильная!» — говорил мне один лоцман, хитрейший, себе на уме бородач, остриженный «под совок», как заволжский старовер, в скобку. Дескать, от яблони яблоко, а от лоцмана родится лоцман. Человек обычно выходит в лоцманы только под старость. И это не случайно.

Всеволод Вячеславович задумчиво покачивает головой и начинает объяснять предмет по-своему. Лоцманы учитывают верховые, стрежневые струи, понимают турбулентность, завихрения в речном потоке, по речной поверхности определяют глубины, капризные излуки русла и фарватера.

- Навык, интуиция — это уж само собой.
- Положим, это всем лоцманам свойственно.

И, как бы спохватившись, неожиданно спросил, знаком ли я с писателем таким-то. И с непрекаемой уважительностью назвал известного московского литератора.

- Необыкновенный и неутомимый выдумщик!

Во всех смыслах поразительные игра ума и блеск его логических, художественных построений. И выдумка его всегда свободна и всегда естественна, как навевающий прохладой, луговыми ароматами весенний ветерок. Она оригинальна, ненавязчива, всегда приятно забавляет, брызжет остроумием и свежестью. И ошеломляющая эрудиция вдобавок ко всему. Эрудиция, которой, знаете, хватило бы наверняка на целую энциклопедию.

- Вполне согласен с вами, Всеволод Вячеславович.
- Писатель этот — наглядная антитеза тяжелодумья и то-

порности. Чем грешили, к слову, и грешат некоторые наши пишущие «почвенники», щеголяя вспашкой «на глубину». Этим и писатель имярек частенько щеголяет, водится за ним такой грешок. Но это щегольство от избытка эрудиции, избытка неожиданных и острых наблюдений и раздумий. Совсем вроде ветлужского лощмана. Некоторые, скажем, отзываются об этом интереснейшем писателе: «Дескать, он — и джаз и легкая музыка в литературе!» А мне думается, это совсем не так. Большой и настоящий мастер, имярек — явление более серьезное в искусстве. Он вроде толкача или вроде бродильной закваски в нашей среде. А как по-вашему?

— На то и щука в море, чтобы карась не дремал.

Всеволод Вячеславович, разминая ноги, поднялся.

— Верно. И к этому ничего не добавишь. Дело только в том, что ни карась, ни щука совсем не обитают в море. Значит, все определение ваше, братец, повисает в воздухе. А ведь при всяком доказательстве выигрывает только натиск лобовой. В этом и все дело. Ну, а деревня чем живет, чем дышит? Порадуйте.

— В деревне сегодня проблем уйма.

— И какие ж, например?

— Первая у нас проблема... трубочисты.

— Этого еще не хватало. Оказия.

— А вот послушайте.

В любую пору года дорога в родные места доставляет уйму удовольствий. Миную тихие селения, оставляю позади парковый сосновый перелесок. Как водится, с кукушками, неугомонными щеглами, с очень занятым своей долбежкой дятлом на сухой вершине. С мелкими и хрупкими маслятками по колее дорожной. Вдалеке машина-лесовозка сигналит, словно флейта, за Окининым болотцем. Подхожу к знакомым избам, а возле мостика, гляжу, толпа шумит. Что такое? Что случилось? Отчего и шум и гам на все селение? Со всех сторон обступают, суетятся, кричат: «А ты разуй глаза-то, в Васин переулочек глянь-ка!» В проулке вижу, куча обгорелых бревен, дымятся головешки, накренилась кривым торчком закопченная труба печная. Устинья Поляшова хнычет по-старушечьи:

— Хорошо, что на отшибе Васина усадьба. А не то бы поселения смахнуло. Такая была ночью страсть... беды!

— Но беда с чего же приключилась? — спрашиваю.

— Трубы-то в деревне уж который год не чищены? Спроси-ка.

Молодежь, говорят, брезгует таким занятием, да и поголовно учится она теперь, охотников по крышам лазить нет. Да и нехватка ведь не только в трубочистах. Днем с фонарем нигде не найдешь шерстобитов, коновалов, стекольников, печников.

— Дедовские профессии из моды вышли.

— А без них не обойдешься,— сказал Всеволод Вячеславович.— Деревня пополняет город — знаменательная примета времени.

Помню и другую встречу. Я только что вернулся из Закеренья. Опустевшие поля, клочки лесов притихших, пожни озими, озабоченные стаи птиц, собравшихся к отлету, свежие колхозные карьеры на торфоболотах. И все исполнено осенней домовитой тишины, набирающего силу мудрого предзимнего отдохновения. Тарахтят колхозные грузовики навстречу. Бредут ватажки плотников с топорами, пилами. С восстановлением народных промыслов заволжанин наш, смотрю, воспрянул. В селах появились гончары, корьевщики, рогожники, грибовары. Сытая и щедрая осень лесного Заволжья. Сеющий серый, спокойно опускающийся сверху свет.

Отчий край, как и всегда, встречает вас дорожными нахлынувшими думами. И не пересчитаешь новых перемен в селениях на твоём пути!

Всеволод Вячеславович, мечтательно притихнув, слушает.

Спрашивает заинтересованно, как о самом наболевшем, чрезвычайно важном. Посмеиваясь, вспоминает, как недавно вычитал в каком-то превесёлом солидном сочинении поразительную деревенскую примету: в деревне уже не увидишь помещичьей усадьбы!.. За сорок лет Советской власти писатель, видите ли, разглядел такое, о чем давно уж перестали вспоминать колхозники. За сегодняшней деревней можно уследить, только не теряя постоянной связи с ней. Спросил я как-то дедка-кадочника: «А старая деревня, братец, где же? У вас что-то ее не видать». В ответ дедко огмахнулся весело: «Вчерашняя деревня у нас на чердаке!» На чердаке иконы, керосиновые лампы, ткацкие станки, серпы, азямы, льномялки, молотила и кафтаны, убранные за ненадобностью.

— На чердаке у мужика словно в краеведческом музее,— утвердительно проговорил Всеволод Вячеславович.— Старина цепляется за нас, старину, конечно, жаль выбрасывать.

В былые годы по нашему Заволжью, почесть, у каждого крестьянина свое гумно. Так велось и по другим окрестным деревушкам. Помню, на гумне у нас стоял овин, мякинница, большой сеной сарай, потом сарайчик, куда ставили саночки с тарантасом. Клеть с закромами для зерна стояла тут же, а за клетью — покосившийся сарай для снопов и срубов. Теперь от бывших деревенских гумен и малых следов не осталось. Постройки снесены, земля распахана, а местами и застроена новыми усадьбами колхозников. Вместо множества мужицких



гумен оборудован один колхозный ток за речкой. Большой ток, крытый.

— В гуменниках не стало надобности?

— Да. Или тоже ни в полях, ни по лесным заповьям теперь уж не увидишь изгородей,— продолжаю я рассказывать Всеволоду Вячеславовичу.— А ведь сколько раньше с ними канители и забот у мужика! Сколько выгонов и сколько полевых ворот, бывало!

— И за всем следил крестьянин?

— Все лежало на обязанности сельской общины. На мужике.

В сельской местности давно не стало волостных, приходских сел. С церковью, с поповской слободой, с волостным правлением, с погостом возле церкви. Не стало также и торговых шумных сел с каланчой, с торговыми рядами и торговой площадью, затаптанной и пыльной либо невообразимо грязной. В селах появились колхозные усадьбы с гаражами, механическими мастерскими, скотными постройками, с овоще-зернохранилищами, силосными башнями...

Немного походив по комнате, продолжаю:

— Или объедешь весь район — и ни одной ветрянки, ни одной водяной мельницы, ни одного пруда на речке. «Почему их ликвидировали?» — спросишь. «Расчету нет! — отвечат. — Перешли на тракторную тягу». С помолом стали управляться без хлопот затяжных. Привезет колхозник воз зерна, засыплет его в ковш, включает трактор. Через полчаса помол готов, тогда как с мельницей-водяной колхознику пришлось бы у ковшей задерживаться сутками. В помолодевшей советской деревне время стало реально ощутимой ценностью.

— Так-то так, никто не спорит, — справедливо замечает Всеволод Вячеславович. — А все-таки... К чему понадобилось нарушать сельские-то водяные мельницы? Даровую водную энергию можно было и в новом хозяйстве использовать. И эти тихие пруды с кувшинками и камышом? Пруд в деревенском обиходе — удобство немаловажное. Недавно мне попала в руки капитальнейшая монография о русском деревянном зодчестве на Пинеге и Северной Двине. Зодчестве народном, деревенском, плотницком. Сколько кружевных наличников, великолепных донец к прялкам, рубелей, солонок, точеных, вырезных балясин! И ведь чудо, диво-дивное эта народная резьба, посмотришь! — восторгается Всеволод Вячеславович. — Музеев на периферии станвится все больше. Пригодились бы потомкам эти превосходные реликвии народные наверняка. А вот наше поколение сочло, что потомки и без дедовских реликвий отлично обойдутся. В будущее ведь созвучное берется.

Полистал на стуле исчерканные листы кем-то принесенной пухлой рукописи и завязал бечевкой папку.

— На крутых и эпохальных поворотах исторических, впрочем, совершенно неизбежны глубокие переоценки ценностей.

Под конец беседы Всеволод Вячеславович с подробностями напоминает мне, как один советский писатель очень остроумно замечает, что эпохи меняют мысли и чувства, как меняет свои наряды и прическу щеголиха перед уходом в театр. Гибель древней античной культуры, скажем, дорого обошлась последующим поколениям. В третьем столетии до нашей эры Аристарх Самосский писал о вращении Земли вокруг Солнца и вокруг своей оси. Однако потребовалось потом девятнадцать столетий, чтобы это же самое установил Коперник. Ученому Гарвею пришлось заново открывать систему кровообращения двадцать веков спустя после того, как это было сделано греком Герофилом. Васко де Гама первый обошел Африку, чтобы дойти до Индии. Между тем о возможности этого мирового морского пути писал еще Аристофан Киренский за тысячу семьсот лет до знаменитого португальского мореплавателя.

— Или утраченные секреты наших древних позолотчиков и каменщиков!.. — тяжело вздыхает Всеволод Вячеславович.

## 8

Припекает, как и всегда в июне.

На прогибающейся лавочке-временке сидят: Иван Михайлович Касаткин, Вячеслав Яковлевич Шишков, Семен Павлович Подъячев, сгорбившийся, бледноволосый, только что приехавший в столицу из дмитровской деревни. Возле них переговариваются маститые прозаики, поэты, критики, артисты Малого театра, МХАТа. Близ лавочки снует неутомимый говорун и непоседа, литературовед и видный театральный критик, профессор Юрий Васильевич Соболев, с неизменно перегруженным, похожим на кошель портфелем. Тут и Павел Иванович Замоиский, Виссарион Иванович Казанский, отличнейший лирический поэт есенинской плеяды Василий Федорович Наседкин, пришедший вместе с женой Екатериной Александровной Есениной. Какие-то длинноволосые крестьянские писатели в сборчатых толстовках, длинных блузах.

Кто сидит, кто стоит, а кто расхаживает по солнечному дворику либо запросто на свежей весенней травке устроился. Я вижу тут неутомонного хлопотуна Александра Степановича Кожебаткина, всезнающего московского библиофила, букиниста, снабжающего писателей, артистов книжными диковинками, ред-

костями, прошумевшими новинками. Вижу лечащего видных театральных деятелей и писателей на редкость образованного доктора Савельева, завсегдатая литвечеринок, генеральных репетиций, художественных выставок, дискуссий, вернисажей. Рядом с ними сидит известный пушкинист, профессор Милий Александрович Цявловский, поглаживающий лохматые седые брови.

Летучий смешок, реплики. Обычный перебежистый говорок затянувшегося ожидания. Поглядывание на солнце, на часы, на голубое с белыми, словно фарфоровыми, облаками небо. Сухотинский тупичок, как ящик, узкий. Сзади неказистый дощатый забор, по бокам нагретые июньским солнцем стены. «Никакой продушины, живой опрохолодки!» — ухмыльнулся Семен Павлович Подъячев, забавляясь длинным деревенским пожарком. Солнцеpek, будто в духовке, давящий, упорный. Можно бы от солнышка и схорониться, но с минуты на минуту должен подойти писатель Всеволод Иванов, чтобы прочитать последний свой рассказ. По-видимому, один из тех рассказов, над которыми тогда работал Всеволод Вячеславович, ставший почему-то печататься все неохотнее, все реже после известного сборника «Тайное тайных», вышедшего года два тому назад.

Посматривая бочком из-под приложенной к глазам ладони, Иван Михайлович Касаткин вальяжно, по-домашнему поводит горячо прогретыми плечами, щурится: «А захолюстьеце тут — ого-той!» И снова мы любуемся запущенной усадьбой. Дремель, тишь, зной, глушь. Удивительное вокруг захолюстье. Совсем как в старой провинции захиревшей!.. Куры разгребают пересохший мусор. Греется лохматая дворняжка. Пощипывают траву, все гуще заседающий «клоповник», теряющие перья гуси. Скособочилась в крапиве извозчицья пролетка с одним колесом. Взвернутые вверх днищами, с потеками асфальта, полуожженные котлы. Дворище обширный, запустелый, с поленицами швырковых дров, с разросшимся чертополохом. С клетками выломанных еще при перестройках в прошлом веке и давным-давно уж отслуживших свои сроки дворянских деревянных лестниц, брусьев, перемычек, поломанных балясин и стропил.

За глухой оградой — каменная церковка с гроздьями пожухлых луковок. Не отнимая ото лба ладони, Иван Михайлович показывает за ограду: «А кто знает, с чем сравнил эту церковушку дряхлую Всеволод-то Вячеславович?» И, как бы пережидая, не доскажет ли за него поглаже, выразительнее кто-нибудь другой, крепко ухватился жилистыми длинными руками за лавочку-тесинку, то и дело сползавшую с подкладышей.

— Уж и чародейское, сказать, сравненьице, диковинное! — по-мужицки, с добродушной, ненавязчивой усмешечкой щурится и щурится Иван Михайлович. — Вот что значит самородный и самостоятельный писатель! На своих, не подставных ногах художник. Жу-дож-ник, не мазилушко горевой... Который уж год я в этот сибирский рассказ заглядываю. А ведь так и не возьму в толк: как же его догадало до такого додуматься? Подняться с таким взлетом? Прямо-таки дух захватывающим? Чудеса! Старую, по всем бокам ободранную церковушку додумался сравнить с грибным лукошком! Мол, церковь, похожая на лукошко с грибами!.. Заганул загадушку, нечего сказать! Хлесткую!..

— А помните его зачин в ошеломляющей «Пустыне Туубкоя»? — подхватывает потихоньку Вячеслав Яковлевич Шишков. — С таким иступлением и так завораживающе воскликнул: «Экая гайдучья трава!» Как будто эти гайдуки и гайдамаки после лютой сечи в зоревые трубы трубят. На дюжине страниц не выразишь столько, что выразил писатель в трех трубных словах!

— Да тут, ребята, думаю, что-то не от выучки, — покачивает лобастой головой Иван Михайлович. — Не от одного, смекаю, мастерства. Тут что-то, думаю, и поважнее, посущественнее. Отчего бы, Павлыч? — повернулся к Подъячеву.

— От батюшки таланта-участи, вот отчего! — похлестал ольховым подождом зеленую былинку Семен Павлович. — Сами, небось, слыхали, как желанное-то дарованьице в народе у нас величается.

— По самому высшему курсу.

— То-то и оно.

Разговор о церковке, похожей на лукошко, становится все оживленнее. Приведенное сравнение находят все на редкость динамичным, точным, поэтическим и совершенно неожиданным! Милий Александрович Цявловский считает его и поразительным, и необычным, и, главное, решительно ничем не заменимым в стилистических, изобразительных приемах Всеволода Вячеславовича.

— Редкое единство мастерства и вкуса!

Кто-то из любителей велеречиво пошуметь на людях заводит разговор об интуитивном, образном наитии, творческом прозрении. О роли вдохновения, ассоциаций, личной одаренности в художественном творчестве. Замечает, что привередливая писательская кухня остается до сих пор в поэтике наименее исследованным и разгаданным хозяйством. Что даже самих терминов такого рода наши слишком осторожные искусс-

ведеды либо суеверно избегают, либо объясняют и трактуют их с беспомощностью загутавшейся в тенетах бабочки. Да и, собственно, откуда сие видно? Что именно об этой развалюшке за оградой речь. Церковка московская, арбатская, а данное сравнение использовано в сибирском рассказе. Свидетелей же при таких случаях, как известно, не объявляется. Деликатно говоря, вольные догадки при исследованиях творчества принимаются в расчет весьма условно. С пятидесяти, так сказать, процентной скидкой. Выхваченный из художественной ткани образ рискованно постулировать.

— И слава богу, что ваши постулаты не имеют отношения к научному объяснению литературных явлений! — встряхнул разлетающейся седовласой шевелюрой профессор Цявловский.

Иван Михайлович Касаткин не без удовольствия прислушивается; вступать в запальчивые пререкательства он не любил. «Скажешь — слово, промолчишь — мудрость!» — как-то признался он мне.

Юрий Васильевич Соболев перекладывает на коленях свой портфель с напичканными как пришлося театральными, концертными репертуарами, недописанными рукописями, вырезками, гранками, тезисами лекций. Это был человек основательно эрудированный, широко осведомленный. Недаром Владимир Иванович Немирович-Данченко считал его и наиболее толковым своим биографом и наиболее трудолюбивым московским театралом.

— Писательская удача с образом, конечно, любопытна,— обращается он к Цявловскому.— Иван Михайлович Касаткин очень и очень прав. Но и само происхождение грибного лукошка — тоже история занимательная. Об этой многоглавой и не столь уж авантажной церковушке Всеволод Вячеславович отозвался по прямому, так сказать, наведению своего большого почитателя и друга. Да, к этому лукошку, что ни говори, а наш Василий Иванович Качалов самым тесным образом причастен. Да-да!

На Собачьей площадке, у писателя Павла Сергеевича Сухотина, человека редкой простоты и по-московски радушного, перebывали многие столичные артисты, столичные писатели. Флигелек уединенный, скромный, малолюдный. Каменные стены — на сажень косую, дедовской добротной кладки. Теплые и сумрачные, с изразцовыми старинными печами комнаты. Пахнет по-усадебному: валерьянкой, самоварной гарью, неостывшим утюгом, анисом, масляными красками, левкасом, свежеразведенной бронзой. Павел Сергеевич писал стихи, охотничьи рассказы, инсценировал Бальзака и Лескова. Связан был едва ли не со всей театральной, литературной Москвой. Приветливая

хозяйка Марина Алексеевна Сухотина была незаурядным знатоком и мастерицей в прикладном искусстве.

Усадьба старая, с печатью давнего запустения, забытости. Ни малейшего намека на уличный, трамвайный шум. И на огонек к Сухотиным заходили многие.

Сухотинское подворье, как шутя прозвали посещавшие этот скромный с виду флигелек, навещали главным образом московские писатели, известные артисты. Одни чаще, другие от случая к случаю. Завсегдатаи нередко приводили интересных новичков. Кроме раньше перечисленных, здесь бывали: Алексей Николаевич Толстой, Алексей Силыч Новиков-Прибой, Владимир Германович Лидин, Сергей Митрофанович Городецкий, Павел Александрович Радимов. Не пропускавший ни одной вечеринки и всегда приходивший вместе с женой, аккуратно появлялся известный литературовед и пушкинист Николай Сергеевич Ашукин, чернобородый, мрачно-молчаливый по обыкновению. Бывал здесь тесно друживший с Сухотиным и Всеволод Вячеславович. Приходили критики, киноактеры, художники, работники журналов и издательств. Из постоянных посетителей я помню композитора Бориса Борисовича Бера, переводчицу Марию Николаевну Зелинскую, молодую пианистку Нелли Скублицкую, певицу Аллу Леонидовну Маратову. Захаживали наезжавшая из Ленинграда фольклористка Ольга Эростовна Озаровская, москвичка Леля Закладная, энергичная этнографистка, занимавшаяся русским Севером.

Внося особую артистическую оживленность и праздничную, веселую приподнятость, на Собачьей площадке у Сухотиных охотно встречались с писателями Василий Иванович Качалов, Иван Михайлович Москвин с братом Михаилом Михайловичем Тархановым, артистки Елена Николаевна Гоголева, Алла Константиновна Тарасова и некоторые другие. Частенько появлялись однофамилец с Ильичем артист Михаил Францевич Ленин, а также главный режиссер Малого театра Платон. Бывали и другие выдающиеся мастера искусств, деятели молодой советской культуры. Однажды вместе с артисткой Розенель к началу вечера приехал Анатолий Васильевич Луначарский. Его яркий, образный рассказ о последней заграничной поездке был основной темой этого памятного вечера. Анатолий Васильевич рассказывал о своих волнующих встречах с Алексеем Максимовичем Горьким, о его завершающих работах над романом «Жизнь Клима Самгина», последней выдающейся эпопее великого пролетарского писателя.

Супруга А. В. Луначарского, элегантная, роскошно разодетая Розенель, передала привет присутствующим артистам от Марии Федоровны Андреевой, с которой часто встречалась в Сорренто.

Собирались, читали новые рассказы, пьесы, обсуждали постановки, книжные новинки. Обменивались последними литературными, театральными новостями. И целыми вечерами спорили, спорили! Спорили за чашкой чая, за доброй сулеей доброго крушона, за бутылкой кахетинского или цимлянского. А иногда и за огромнейшим каким-нибудь салатом, затейливо составленным искусной на все руки Мариной Алексеевной. Жили Сухотины скромно, правильнее сказать, непритязательно и скудно. Нуждались сплошь и рядом в самом необходимом. Затейливый салат с цимлянским появлялись на товарищеских началах, вскладчину. А кто пощедрее, тот и сверх общего сбора приносил кулечки и закуску посущественнее.

— Так вот однажды (прошу прощения за это неизобретательное и все же неизбежное однажды),— продолжал Юрий Васильевич Соболев.— Однажды при разгаре особенно дискусионной жаркой вечеринки вышли насладиться здешним натуральным воздухом усадебным два друга.

Время к петухам. По-осеннему весь вечер брызгал самый невеселый, самый размочливый, нудный дождичек. Брызгал, как поется, надоедливо, упорно. И, как это с дождичками водится, взял да и внезапно перестал. Выглянул промытый, в самом начале своей третьей четверти и, стало быть, еще не полностью уцербленный месяц. И поразила, конечно, загустившаяся, даже, может быть, сверкающая полуночная голубень. Ключки летучей мути облачной. И кое-где, кхе-кхе, любопытствуя, малые звездочки просеклись! На главках за оградой лоснятся не то пятна лунные, не то еще не вытертая ветром-сиверком дождевая сырость.

Василий Иванович размашист и горяч. В ударе. Великий знаток мирных, уходящих уголков старой Москвы, он показывает Всеволоду Вячеславовичу и туда и сюда. Показывает, как говорит, весь обозреваемый оком. А сообщаемые частности насущенного городского окоема сопровождает почти ритуальными своими качаловскими артистическими жестами. Крылатыми, сценическими, так сказать. При такой позиции он, как известно, был превеликий мастер. Чего, например, стоила одна его царственная голова!

— Да, там жительствовавали,— показывает Качалов,— в свое время Хомяковы, размышляя о своих запутанных путях славянофильских. Групповых, как говорим теперь, обидях и невзгодах. Там, у Соболевского, гащивал наездами Александр Сергеич Пушкин и прогуливался по утрам вон по той, запомните, по той сторонке у Собачьей, густовато залужавевшей тогда, площади. Пристанища легковых извозчиков, старьевщиков, шляпниц и картузников, да надомных, мелких белошвеек, прачек.

А в этом, у которого стоим мы, домике с пузатым мезонином благополучно размещается теперь Музей сороковых годов. Разумеется, с положенной ему дворянской и усадебной аксессуарией! — улыбается внимающему другу Василий Иванович. — Местечко, согласитесь, Паша Сухотин избрал на зависть всем нам, грешным. Подальше чуточку — домашняя обитель Скрябина. В гулком, четко резонирующем переулочке, конечно. И рядом с композитором мирно проживает и поныне наш гражданственный, наш теперь уже престарелый поэт Григорий Александрович Мачет. В другой сторонке, на дворянской Поварской — графские Ростовы из «Войны и мира».

— Отличная насыщенность, не пожалуешься! — вторит замечательному другу Всеволод Вячеславович.

— А сие сооруженьеце, — показывает Василий Иванович на блестящие за оградой луковки. — Сие сооруженьеце издревле слывет у богомольных арбатчан под именем Николы-на-Песках. Пожалуйста, запомните, мой дорогой.

Для ускоренного прохлаждения Василий Иванович, чуть склонившись, крылато помахал опущенными вниз руками. И, обзирая мокрые кровли, ночную голубень, рассеянное лунное сияние над ветхой церковушкой, с плеча на плечо покачал обнаженной, удивительно красивой головой.

— Прикинули б, — растроганно прищурился, — о чем она, смиренная, напоминает нам? Эта затишавшая старинка каменная?

— Луковичная старушка? За оградой?

— Да, размилейший сизый голузь мой.

— Полное грибов лукошко, Василий Иванович, — промолвил, ни минутки не колеблясь, Всеволод Вячеславович. Более того, промолвил как бы с облегчением, с разлившейся внезапной радостью. Как будто выложил давно уж приготовленное, сберегаемое. — И густой такой, смотрю, набор грибной. Тютелька вютельку, как при лесной грибнице изобильной.

— Вы родились в рубашке, Всеволод!

— Ах, может ли такое сбыться?

— В рубашке! В золотой рубашке, писателице мой дорогой!

Измученный и взволнованный, артист обнял и по-русски расцеловал Всеволода Вячеславовича. Появившийся в руке и высоко приподнятый сурепсовый платочек мягко разворачивался по разутюженным глубоким складкам.

— Вы... удивили... — Качалов положил писателю на плечи обе руки. — И тут, понимаете... вы несказанно удивили меня!..

Вернулись в шумные и жаркие, удушливо накуренные комнаты с низкими потолками. Теснота, суматоха. И как бы впервые представляя Всеволода Вячеславовича собравшимся, разве-



селившийся Василий Иванович Качалов дружески подталкивал смущенного писателя, по-старомодному, с торжественностью церемонной во всеуслышание провозгласил:

— Се витязь соловьиного слова с нами!..

Запыхавшийся, румянощекий Всеволод Вячеславович появился в сопровождении двух чрезмерно деловитых и чрезмерно строгих редакционных тетушек, с беспричинной озабоченностью хлопотавших около писателя. «Задержка вынужденная, издательская!» — издали изрекла кособокая тетушка с холщовой, вышитой еще на земских курсах сумкой. Стали подниматься. Заторопились. С упористого солнцепека повалили к Сухотиным.

Чтение рассказа началось.

## 9

Как человек и художник Всеволод Вячеславович, повторяю, был самобытнейший, глубокий, много всего передумавший (по-своему передумавший), много всего повывавший (в смысле — лично испытывавший!). Поэтому послушать его влекло многих. Писатели (да и не только писатели!) хорошо помнят, какой исключительный резонанс и большой, серьезный интерес вызывали обычно его добросовестные и всегда основательные, глубоко продуманные, честные выступления на съездах, конференциях или собраниях. Его речи были событием. И все-таки большой официальной аудитории Всеволод Иванов избегал. В редких таких случаях чувствовал себя смущенным, связанным, переконфуженным до крайности. Недолголюбивал представительные писательские аудитории с многолюдным президиумом, с переполненным гудящим залом.

— Нет, не смогу!.. Пожалуйста, увольте!.. Не умею, не привык к трибуне! — отмахивался он обычно и на звонки и на дружеское уговаривание.

А молчаливиком не был, рассказчиком слыл замечательным. В особенности при неторопливой, приятельской беседе, в домашней, малолюдной обстановке. В таких случаях, сужу по своим встречам, Всеволод Вячеславович являл собой идеальнейшее воплощение простоты, душевности, веселости, согретой и неиссякаемой человеческой доброты. В безыскусной, дружеской беседе полнее всего раскрывался весь его обаятельный облик. Говорил начистоту, открыто, но расплескиваться, держаться нараспашку не любил. И всегда при разговоре чувст-

вовалось великое его отвращение к жеманству и рисовке, или, как он называл, к вывеске. Отвращение к чопорности, опереточной престижности, к наигрышу, дутой и спесивой показухе. На каком-то заседании, брезгливо отмахнувшись, шепнул мне об одном ораторе:

— С вывеской настрачивает! Тошно.

## 10

Многим и многим я обязан доброму, отзывчивому писателю Всеволоду Иванову за его поддержку, дружескую помощь, искренние наставления. Вмешивался, хлопотал, помогал советами, защищал при каверзных и трудных схватках на долгом и превратном писательском моем пути. Я каялся ему в своих промахах, в просчетах и оплошностях, делился с ним своими радостями и своими временными огорчениями, без которых нет литературных будней. Случалось, после обильной впечатлениями поездки я прежде всего приходил к нему. Приходил и восхищался его блестящим, летучим, при ударе бросковатым, хлестким разговором, хотя вообще-то говорил он мягко, сдержанно, немногословно. Предпочитал вести беседу слушающим,нисходятельным, улычиво-притихшим. И только иногда, войдя в веселый раж, он полностью овладевал беседой. В таких случаях рассказчиком он был на редкость и приятнейшим и вдохновенно-неистоцимым.

Сказавшись на моей судьбе самым радикальным образом, редакционная беседа в «Красной нови» близких результатов, впрочем, не дала. Воронского вскоре сменил П. М. Керженцев, на смену которому пришел Ф. Ф. Раскольников. Однако довольно популярный отдел журнала «От земли и городов» по-прежнему заполнялся очерками, текущей публицистикой. В этом-то отделе и стали печататься один за другим мои очерки: «Деревенское», «Граммфон отца Афанаса», «Шиворот-навыворот», «Конец деревни» и другие. Появляясь как прямое следствие состоявшейся беседы, они потом составили мой первый сборник очерков, рассказов, выпущенный издательством «Земля и фабрика». В этом-то и состоялась самая ощутимая и самая прямая польза от доброго вмешательства в мою судьбу Всеволода Вячеславовича. А ведь так и потом случалось. Уже перед самой смертью, прочитав мои записки о северных народных обрядах, он неожиданно прислал мне трогательное письмо. И в тот же день я слышу в телефонной трубке артистический, красивый голос Тамары Владимировны, жены писателя:

— Крепко Всеволоду Вячеславовичу приглянулось. Захватываете вопросы нужные, вопросы острые. Всевоочка предлагает свое предисловие и редактуру. Да вы лучше приезжайте в Переделкино. Только к дачному обеду не опаздывайте. Будем ждать.

## 11

Однажды Всеволод Иванов подал мне исписанный листок с выцветшей от давности машинописью. Что такое? И откуда?

— Видно, память подводить уж стала? — спрашивает.

— Документ какой-нибудь иль справка? А может быть, письмо читательское? — занятый другим, пытаюсь я догадаться.

— В рукописи у вас нашел. В большом колхозном очерке.

Развертываю вчитываюсь. Старая, забытая бумажка, вероятно, запись дневниковая, а дневники я перестал вести уже давно. Всеволод Вячеславович усаживается попокойнее и просит меня прочитать вслух. Вслух читать, признаться, я читаю, словно пономарь, но и отказаться тоже неудобно. Да и хозяин не шутя настойчив.

«...По самому дну овражка,— читаю скучно и с заминками,— раскиданы исхиленные, забытые людьми и богом прикорнувшие к земле, серые сиротские избенки. За холмистым скатом—угрюмый и насупившийся черный лес с приглушенным унылым шумом. Истопанное, выкошенное на корм скотине, грязное ожнивьё, с бисеристой, слипшейся от капель паутиной. И как серенькая, с густым навалом пашня — землястые, вкривь и вкось перебутыренные облака с рыхлыми и грязными пластинами, клочьями, осевшими на кровли запустелых, брошенных на разоренье, сумасбродно перекошенных построек по оврагу.

Возвещая о недавних похоронах, треплется суровый лоскуток холстинный над узким прорубным окошком. Неспроста столь похоронно голосит и голосит взьерошенная на коле ворона. За болотцем — догорающей полоской красной одиноко просеклась осенняя заря-плакунья, потухающая как бы от крошечной скуки и одновременно чем-то близкая этому безрадостному земному запустенью, горестной и неизбывной обреченности. Но и зорька, просияв, потухла. И опять остались только эти перекошенные, кривогорбые избенки, потускневший нежилой осенний свет, затуманившаяся над полем облачная наволочь, изрытая яружина за полевым болотцем. И за целый вечер ни одной живой души на улице!»

Сон? Помстилось? Оборвавшееся виденье бредовое?.. И неужели эта явь назначена уделом человеческим!.. Можно бы по-

сомневаться, можно и совсем отвергнуть с гневом. Но все лихо в том: в этой деревеньке, безымянной и безродной, по летам живала в молодости моя бабка, нанимаясь со своим серпом жнеей к барышнику. А барышник любил нищих, заставлял их петь слезливые духовные стихи. А однажды нищие, изрядно хватив бражки, спели ему неизбывный А до в к р у г.

Где леса? — Люди вырубili.  
Где люди? — Все примерли.  
Где гробы? — Черви выточили.  
Где черви? — Гуси выклевали.  
Где гуси? — Улетели за моря.  
Где моря? — Быки выпили.  
Где быки? — За леса ушли.  
Где леса? — Люди вырубili.  
Где топоры? — На огне сожжены.  
Где угольки? — Во сырой земле.

— Какая безысходность! Какая обреченность! — с дрожью в голосе воскликнул Всеволод Вячеславович. — И это была реальность! Это была мужицкая Россия!.. Кстати, не знаете, что стало с нищей этой деревушкой в наши дни? Вот бы любопытно побывать.

— Овражной деревушки давно нет.

— На Магнитку все переселились, что ли?

— Люди другой путь избрали. Теперь в овраге чистый, светлый пруд, красивый и проточный. Разводят карасей и карпа, а для доярок, рыбоводов отличная купальня оборудована. Деревушку, ставшую колхозной, давно перевезли. Правда, сселение было пробное по тем годам, но все, представьте, обошлось удачно, к общему удовольствию. В поселке — рынок, восьмилетка, клуб с библиотекой, каждый день закручивают кинофильмы, танцы. Ставили своими силами «Власть тьмы», «На дне», чеховские водевили.

— Толстой и Горький с Чеховым на сельской сцене, понятно, это говорит о многом! Это настоящая культура, знаете.

— В поселке много молодых мотоциклистов. А в новых палисадниках под окнами не картошка с брюквой, а гордензии и гладиолусы. В поселке затевают местный краеведческий музей. Собирают лапти, старые кокошники, кички, сарафаны. Вырезные дымники из жести занимают в помещении весь угол. Свой универмаг в поселке.

— И, конечно, всю ночь электричество?

— Да что там ночь! В поселке холодильники, стиральные машины, пылесосы, электроутюги. Водопровод. А воду в баш-

ню подает электропомпа, мощность которой увеличить собираются. Электроэнергия круглые сутки требуется.

— Словом, как и повсеместно стало на Руси!—подтверждает Всеволод Вячеславович, снова заглянув в мою бумажку.— Писулька эта, видимо, из дневника. В таких миниатюрах живой кусок живого сердца. И что всего любопытнее: старая деревня, тараканья, лапотная, становится предметом вдохновенной лирики... Какие исторические взлеты мы с вами наблюдаем!

## 12

Познакомивший меня с Всеволодом Вячеславовичем известный русский писатель Иван Михайлович Касаткин отзывался о нем не иначе, как с восхищением, с ласковой и трогательной теплотой: «Такое, мил-братуха, редко в человеке и художнике: скромняга и талантище!» И об этих касаткинских словах я вспоминал всегда с каким-то чистым, неусыпчивым, подбадривающим волнением. Вспоминал и при беседах, встречах с Всеволодом Ивановым, вспоминал при чтении его статей, романов, пьес, рассказов, очерков, заметок, блестящих фронтовых корреспонденций. (Безошибочно угадываемых, кстати, по первому эпитету, мазку, по характерной слоговой силлабике в его выразительной фразировке, ритмике, в его речевом, повествовательном строе.)

— Воистину в трубные трубы трубит трубное слово Всеволодо! — как вспоминал о нем частенько Вячеслав Яковлевич Шишков.

Меня всегда поражала широта интересов Всеволода Вячеславовича. Вот обычно первые его слова при встречах: «Откуда прикатили? Чего обрели хорошенького?» И, право же, была достойна удивления эта его всегдашняя заинтересованность во всем. При беседе Всеволод Вячеславович обычно все захватывал: малое и большое, современность, старину, национальные искусства, верования, быт, культуру, промыслы. Он не ударил бы, как говорится, в грязь лицом, беседа с любым этнографом, экономистом, психологом или знатоком сибирских минералов. Запомнились мне на всю жизнь его удивительные рассказы о бытовой обрядности, религиозных ритуалах так называемых палеоазиатских народностей Северо-Восточной Азии.

Его знания и осведомленность были поистине изумительны. Однажды, когда я работал над документальной книгой о Центральной Сибири, Всеволод Вячеславович неожиданно стал рассказывать о многочисленных наскальных писаницах и петроглифах на Верхнем Енисее. В заключение беседы он поведал

мне старинную легенду о скорбных могильниках, хакасских степных чаа-тасах, с рядами стоящих камней, иссеченных ветрами. Всю жизнь привлекало его изумительное мастерство искусных умельцев, народных мастеров Востока. Я, скажем, только от него впервые услышал о существовании некоторых художественных промыслов Сирии, Ирана, Кипра, Древнего Египта, Вавилонии, некоторых балканских стран. Он, по-моему, не всюду побывал, но всякий раз, перечисляя эти страны, рассказывал о них с доподлинной осведомленностью наблюдательного путешественника.

### 13

Трудно назвать другого писателя, творчество которого было бы так вседневно связано с поездками по родной стране. Я рассказываю Всеволоду Вячеславовичу о Пинеге, кудрявых островах на Селигере, о Муроме, Касимове, Зарайске. «Я был там!» — по ходу беседы говорит мне он. Делюсь своими впечатлениями о поездке к огородникам, дояркам и механизаторам в селе Нижний Белоомут на Оке. «Я был, был там!» — утвердительно кивает он. Пересказываю о Беломорканале, Болшеве, Семипалатинске, Караганде и Чирчикстрое. И то же неизменное: «Был, был». География поездок у Всеволода Вячеславовича прямо-таки необъятнейшая.

Взаимные впечатления и разговоры о том, кто и откуда вернулся, кто и где побывал, вспоминаю, были наиболее привычной темой наших бесед. Причем Всеволод Вячеславович рассказывал мне частенько о своих поездках даже при совсем случайных встречах. В холле поликлиники, библиотечном зале, кулуарах ЦДЛ, в сумрачной абсиде древнего Успенского собора или расписных царицыных палатах перед заседанием писательского съезда в Кремле. По обыкновению он сначала выслушает вас, расспросит, а потом и сам, постепенно увлекаясь, становится порывистым, речистым, загоревшимся. (Хотя обычно избегал и уклонялся всячески что-нибудь навязывать своему собеседнику.) Удивить его чем-либо при подобных беседах было невозможно. Я рассказываю ему о основных склонах Джилан-тау, с изумительным поволжским видом на Услон, Кутень-Булак, пристанскую сутолоку за Адмиралтейской слободой. Передаю красивую татарскую легенду про древнюю Сумбекину иглу, пронзающую вечернюю безоблачную синеву над величаво вознесенным городским кремлем.

— Казань! — схватывается за голову Всеволод Вячеславович. — Ах, знали б только, знали, какое вы далекое и светлое напомнили! Бог мой!.. Я ведь тоже был, представьте, у завзя-

тых садоводов и стерлядчиков Верхнего Услона. И был и хаживал в слободочных окрестностях у старой Джилан-тау. Выезжал в красавицу Казань, всюду белый зацветал жасмин, весной. И тех дней, пожалуй, никогда не позабудешь! Величавая, велика, горда и, как говорил Минглай, татарин, нутряниста matka Итиль-Волга!... Да, это было вскоре после Ленинграда и «серапионов». А может быть, и перед первой заграничной поездкой: к Горькому. В Сорренто. И тогда еще белела, помнится, за старыми деревьями у Джилан-тау неповоротливая и угрюмая ограда женского монастыря. Как отчаянно, как фантастически летит время!

И прибавляет к моим собственным куда более волнующие впечатления о сбегавших садах Услона, университетских буднях Ильича, паромной переправе через светлую Казанку-речку. Впечатления и светлые раздумья о седой поволжской старине, своевольной и размашистой, как понизовная широкая волна в крутое половодье.

Особо запомнился мне такой весьма характерный случай. Перед выездом в неведомое Богдо спешу повидаться с Всеволодом Вячеславовичем. «Очень, очень стоит! Завидую!» И, показывая мне какие-то сиреневые камушки, говорит. «Сам туда решил прокатиться. И обязательно соберусь. Вот только с презрительно измотавшей поденкой поскорее б расквитаться»... И вид у него в самом деле был тогда усталый, серенький. Обвяднувшие, почечные щеки.

— Или какие там у них неувядающие и роскошные сады цветут и плодоносят? Что там, диво Семирамидино! Тамариски, померанец, тропические пальмы, смолы сандраковые!.. Свои, свои, чудесные у нас места. Свои места волшебные, под боком: в Богде! Да еще такой отваги смелой наши люди там!

— Еще не побывав, уж столько знаете!

— В том-то и свидетельство моих намерений всерьез туда поехать,— повторил Всеволод Вячеславович и подошел к широкому окну.— Да, удивительные кругом люди. Никак наша литература не поспевает за таким скоростным развитием, необыкновенным ростом наших людей. Да только их догадкой, их руками все и всюду пораспахано, засажено, выращено, обводнено. И, повторяю, где? В мертвой, страшной, выжженной полупустыне. А еще бездумно осуждаем старенькие сказки бабушкины. А выходит, эти сказки с большими человеческими нашими надеждами вплотную связаны. С полетом смелой мысли в будущее.

И распахнул окно в глубокий сад.

Побываешь у Всеволода Иванова, будто на масленице погодишь. И все-таки живой облик человека, да еще к тому же и

большого художника, отнюдь не собрание простых геометрических фигур: прямая линия, многоугольник, параллели, круг, диагональ, гладенькая, как скатерть, светлая пространственная плоскость. Выдающиеся, яркие черты в его удивительной натуре неспроста, конечно, выделяют этого писателя из многих и многих. И при любой обстановке. Он принадлежал к числу тех редких людей, деятельная душевная щедрость которых напоминает только что пробившийся молодой родник. Чем больше черпаешь, тем чище и свежей прозрачные струи.

## 14

Люди и окружающая жизнь — главная вдохновляющая сила его творчества. И писатель Всеволод Иванов знал людей, знал большую жизнь, знал, любил страну. Вживался в ее героическую действительность с упорством и все возрастающим увлечением. Уже больной, семидесятилетний, с роковым подтачивающим недугом, он забирается в первозданную глушь Забайкалья. Сторожит багаж доверчивых попутчиц, прислушивается к ночным таежным голосам, бродит по глухим, медвежьим тропам. Переполненный дорожными видениями, измотанный дорожной долгой тряской, отважный и неутомимый, он без усталости и страха переправляется с случайными попутчиками через свирепые, коварные стремнины. Через бушующие водотоки, перепады горных рек, рокочущий упругий гул которых, как незатихающий и грозный гимн природе, сливается с вечерним ропотом прозрачных лиственниц, сбегających к самой воде.

Суতোлка, рассказы на неожиданных привалах. Прогорклый дым смолистой ноды. Дым ночных костров. Грозные подъемы. Грозные, опасные спуски в горах. И встречи. Встречи!.. Жаркие, неисчерпаемые, радующие, как праздник. Встречи с горняками, героическими девушками, бурильщиками, поисковиками, размашистыми бульдозеристами. С влюбленными в свои перекочевки и скитания бывальыми таежными зверовщиками. Там—выдача автографов неугомонным вертолетчикам. Кратенький, под смех и шутки, отдых. Там разъяснительный затяжной разговор с диспетчером перед долгожданным авиавылетом. Встреча с молодежью в клубе, похожем на универмаг.

Сборы, расставания, новые знакомства с безунынными и удивительными обживателями удивительной тайги у Хапчегранги, по бездонной и, как сам, обескураженный, воскликнул, беспритынной Чаре.

Позади аэродромы, полустанки, стройки, перегоны, безымянные палатки, переправы, пристани. Позади распадки, ка-



менистые курумы, скалы, гиблые таежные урманы с медвежьими берлогами. Каменные быки, утесы, гольцы. Остались позади обжитые и необжитые таежные бараки, истерзанные по камням автомашины, застрявшие на бурных шиверах паромы. Позади Чиндант и Дарасун. Гранитная, выдута свирепыми тысячеветными ветрами Чаша Чингис-хана. Позади заполненные до отказа суровые дорожные будни. Так велика и так длинна таежная дорога! Но писателя влечет романтика у Шерловой Горы. Ему не дают покоя ее молодцеватые добытки и освоители. Писателя влечет к Адун-Чолону с его ласкающей волшебной красотой, увековеченной в неумирающих сказаниях. Так много, так много еще впереди! Бражный аромат тайги, строптивый пересвист кедровок в сизых чащах, пыль и шум карьеров, буровые вышки, смарагдовые пики елей, томительная за рекой полосочка узывчивой зари, девичья в распадке песня. Бодрый, поднимающийся самолетный рокот.

С перевала на перевал... Дальше! Дальше! Ах, дальше и вперед, друзья мои! Томит и не дает покоя жажда! Влечет и влечет по глубоким долам, по горам ничем не усмиримая и все жарче закипающая сила. И эта сила — строгая и жаждущая любовь! К кому любовь? Откуда? Сердце безотказно ведь и без того заполнено!.. Влечет любовь к природе, к людям, к жизни. К ним и только к ним. Без которых не излить и не исчерпать нарастающий, животворящий, радостный, заздравный хмель!.. И, обронив на полуслове звонкое, победное свое перо, в меру потрудившийся благоразумный хмелевод мог бы сказать о пройденном: зауроченное вспахано! Пашня и полоска длинная и глыбистая выдалась под этот буйный хмель, словосеяние крутое и широкое скородилось с мозольной туготой. А сеял, присекая сорняки, окатывая межки-сумежья, сеял, не кривя душой, сеял только лишь неиссякавшее яровчатое слово, сеял через сердце к сердцу, с поисками правильного урожая: да здравствует светозарное цветение — весенний хмель!.. «К у д р я в ы й и д у ш и с т ы й п л а м е н ь ж и з н и!»

\* \*  
\*

«Писательство — святое жертвоприношение с радостями и подвижничеством честного служения народу!» — поднялся, закругляя непомерно затянувшуюся, последнюю беседу нашу, Всеволод Вячеславович. Так и только так, в малом и большом, мужественно и возвышенно, даже и на маковое зернышко ни в чем не поступаясь, он исполнял высокий, многотрудный долг писательский до самого последнего дня.

**Федор Иванович Малов**  
**ВИТЯЗЬ СОЛОВЬИНОГО СЛОВА**

Редактор — **П. А. КРАВЧЕНКО.**

---

Технический редактор Я. М. Борисов.

---

Сдано в набор 2/II 1971 г. А 00533. Подписано к печати 11/III 1971 г.  
Формат бум. 70×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Объем 2,10 условн. печ. л. 2,85 учетно-изд. л.  
Тираж: 100 000. Изд. № 663. Заказ № 312.

---

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография  
газеты «Правда» имени В. И. Ленина.  
Москва, А-47, ГСП, ул. «Правды», 24.





**ПАПЫ И МАМЫ! БАБУШКИ И ДЕДУШКИ!**

Рекомендуем вам заключить договоры страхования детей.

● Оформить договор можно на страховую сумму 300, 500 или 1 000 рублей, которая будет выплачена застрахованному юноше или девушке в 18-летнем возрасте и явится приятным сюрпризом к их совершеннолетию.

● Заключить договор можно в пользу ребенка со дня его рождения и до 15 лет 6 месяцев.

● Ежемесячные взносы доступны каждой семье. Так, заключив договор страхования 7-летнего ребенка на сумму 300 рублей, следует уплачивать 2 руб. 27 коп. в месяц. Страховые взносы можно уплатить также одновременно по льготному тарифу.

Ознакомиться с условиями страхования и оформить договор можно в инспекции или у агента Госстраха.

ГОССТРАХ РСФСР